

A  $\frac{188}{737}$

A  $\frac{188}{737}$





180  
737  
К. М. Станюковичъ.

# СОВРЕМЕННЫЯ КАРТИНКИ.

Танечка. — Испорченный день. — Сержъ  
Птичкинъ. — Истинно-русскій челоуѣкъ. —  
Страдалецъ. — Елка. — Дяденька Протасъ  
Ивановичъ. — Ужасная болѣзнь. — Дома. —  
Рождественская ночь. — Оригинальная  
пара.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Н. А. Лебедева, Невскій просп., 8

1892

83

1782

К. М. Станюковичъ.

# СОВРЕМЕННЫЯ КАРТИНКИ.

Танечка. — Испорченный день. — Сержъ  
Птичкинъ. — Истинно-русскій человѣкъ. —  
Страдалецъ. — Елка. — Дяденька Протасъ  
Ивановичъ. — Ужасная болѣзнь. — Дома. —  
Рождественская ночь. — Оригинальная  
пара.



15630-0

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Н. А. Лебедева, Невскій просп., 8

1892

К. М. С. ШКОЛЬНИК

ГОРЬМЕННИКОВ КАРТИНКИ

Титул — Картины Горького  
Иллюстрация — Картины Горького  
Иллюстрация — Картины Горького  
Иллюстрация — Картины Горького  
Иллюстрация — Картины Горького



2007067258

Иллюстрация



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

	СТР.
Танечка . . . . .	1
Испорченный день . . . . .	33
Сержъ Птичкинъ . . . . .	63
„Истинно-русскій“ человѣкъ . . . . .	89
Страдалецъ . . . . .	131
Елка . . . . .	163
Дяденька Протасъ Ивановичъ . . . . .	183
Ужасная болѣзнь . . . . .	217
Дома . . . . .	235
Рождественская ночь . . . . .	265
Оригинальная пара . . . . .	277

---



ТАНЕЧКА.



# Танечка.

---

## I.

Профессоръ математики Алексѣй Сергѣевичъ Вошининъ, высокій, худощавый старикъ, съ гривой волнистыхъ сѣдыхъ волосъ, выбивавшихся изъ-подъ широкополой соломенной шляпы, окончилъ копаться въ саду и, поднявшись на террасу своей маленькой, спрятанной въ зелени дачи, усѣлся въ плетеное кресло у большого стола, собираясь читать только-что принесенныя почтальономъ газеты.

День стоялъ превосходный. Июльскій зной умѣрялся близостью моря, съ котораго тянуло пріятной свѣжестью. На небѣ ни облачка. Солнце ярко и весело глядѣло сверху, заливая блескомъ небольшой садъ съ липами, березами и рябинами, окруженный со всѣхъ сторонъ густымъ сочнымъ кустарникомъ, —

чистый, посыпанный пескомъ, пестрѣвшій мас-  
сой цвѣтовъ въ красиво раздѣланныхъ клум-  
бахъ. Надъ ними заботливо жужжали пчелы, и  
весело порхали бабочки, присаживаясь на цвѣ-  
ты. Въ золотистой дымкѣ воздуха кружилась  
мошка. Воробьи задорно чирикали, храбро под-  
прыгивая на ступени террасы за хлѣбными крош-  
ками. Кругомъ царила тишина.

Прежде, чѣмъ приняться за газеты, старый  
профессоръ поглядѣлъ и на даль тихаго моря,  
и на чернѣющія пятна фортовъ кронштадтскаго  
рейда, и на дымокъ виднѣющагося на гори-  
зонтѣ парохода, и на бѣлую ленту дороги вни-  
зу, вдоль берега, и весь этотъ давно знакомый  
ему пейзажъ видимо производилъ на старика  
тихое, радостное впечатлѣніе, словно при встрѣ-  
чѣ съ испытаннымъ старымъ другомъ.

Вощининъ любилъ эту мѣстность, эти три, че-  
тыре десятка домиковъ нѣмецкой кронштадтской  
колоніи, ютившихся въ садахъ, на небольшой  
возвышенности, надъ берегомъ Финскаго зали-  
ва, въ пяти верстахъ отъ Ораніенбаума. Эта  
окрестность Петербурга, относительно довольно  
глухая, не оравленная еще желѣзной дорогой,  
музыкой, театромъ, многолюдствомъ, разряжен-  
ными дачницами и тщеславной суетой модныхъ  
дачныхъ мѣстъ, нравилась Вощинину своей ти-  
шиной и близостью моря, и онъ, вотъ ужъ пя-  
тое лѣто, проводилъ въ этомъ мѣстѣ вакаціи

вмѣстѣ съ Танечкой, своей единственной дочерью, отъ недолгаго и не особенно счастливаго брака съ ея покойной красавицей-матерью.

Здѣсь профессоръ отдыхалъ отъ Петербурга: копался въ саду, съ любовью ухаживалъ за цвѣтами, бродилъ въ ближнемъ лѣсу, сиживалъ на берегу моря, писалъ, не торопясь, давно начатый мемуаръ о безконечно-малыхъ величинахъ, читалъ журналы и удилъ окуней на ряжахъ, забывая на все лѣто столичную сутолоку, университетскія дразги и свой профессорскій, подчасъ тѣсный, хомутъ.

— А вѣдь хорошо!—неволью сорвалось съ губъ стараго профессора.

И на его хорошо сохранившемся лицѣ, вдумчивомъ и добромъ, опущенномъ большой сѣдой бородою, придававшей профессору видъ патріарха,—засвѣтилась тихая довольная улыбка, полная чарующей прелести кроткаго, дѣтски-наивнаго выраженія.

Онъ повернулъ голову къ открытому окну, выходившему на террасу, и громко проговорилъ:

— Не правда-ли, чудный сегодня день, Танечка?

— Да, папа. Отличный день!—отвѣчалъ изъ глубины комнаты твердый молодой серебристый голосокъ.

— Что-жь ты сидишь въ комнатѣ?

— Платье оканчиваю, папочка. Вѣдь ты обѣщаль въ воскресенье идти со мной въ Ораніенбаумъ на музыку. Мы пойдёмъ, не правда-ли? — прибавила Танечка съ нѣжной ласкающей интонаціей.

— Конечно, конечно, если тебѣ хочется! — ласково отвѣчалъ старикъ и въ то же время подумаль: «Что интереснаго находитъ Танечка на этой глупѣйшей музыкѣ?»

«А, впрочемъ, ей вѣдь скучно безъ развлеченій... Молодость!» тотчасъ же оправдалъ онъ Танечку.

— А ты что дѣлаешь, папа?

— Сейчасъ буду газеты читать.

— Смотри только не возмущайся!

— Постараюсь, Танечка! — весело сказалъ старикъ и прибавиль: — Да что это Петра Александровича нѣтъ, Танечка?

— А не знаю.

— Ужъ не поссорились-ли вы вчера?

— Я вообще не ссорюсь. Да и не изъ-за чего съ нимъ ссориться!

— Обѣщаль быть къ часу и не пріѣхаль. Пожалуй, и совсѣмъ не пріѣдетъ.

— Пріѣдетъ! — произнесла Танечка съ небрежной увѣренностью.

Наступило молчаніе. Старикъ сталъ-было читать телеграммы, но, не дочитавъ ихъ, снова замѣтилъ:



— А славный человекъ этотъ Петръ Александровичъ! Не правда-ли, Танечка?

— Отличный, папочка. Такая же Эолова арфа, какъ и ты!

Въ молодомъ веселомъ голоскѣ прозвучала едва замѣтная ироническая нотка.

Но старый профессоръ этой нотки не уловилъ и оживленно продолжалъ:

— И, главное, Танечка, съ сердцемъ человекъ. Нѣтъ въ немъ этого противнаго нынѣшняго индифферентизма... Искорка Божія горитъ въ Петрѣ Александровичѣ и чуткая совѣсть есть. Не бойсь, изъ него самодовольный ученый болванъ не выйдетъ... Самомнѣніемъ онъ не грѣшитъ и своего бога не продастъ... Это, Танечка, дорогая черта.

— Влюбленъ ты въ своего доцента!—со смѣхомъ проговорила Танечка...—Послушать тебя, такъ онъ совершенство...

— Совершенства нѣтъ, дѣвочка, а что человекъ онъ хорошій—это внѣ сомнѣнія. И голова свѣтлая.. Работалъ-то онъ какъ, если бы ты знала!.. И всему обязанъ себѣ одному... Передъ нашимъ братомъ профессоромъ не юлилъ... Ни къ кому не забѣгалъ... За все это я его и люблю. И онъ насъ любитъ.

— Тебя въ особенности, папа,—вставила Танечка.

— И тебя не меньше, я думаю. Пожалуй, и больше... Какъ ты думаешь, Танечка?

— Думаю, что ты ошибаешься. Со мной онъ больше бранится, папочка, и постоянно спорить.

— Горячій онъ, потому и спорить. А онъ привязанъ къ тебѣ... А ты?—неожиданно спросилъ старый профессоръ шутливымъ тономъ.

— Къ чему ты спрашиваешь? Точно не знаешь, что я очень расположена къ Петру Александровичу!—спокойно отвѣтила Танечка.

Старый профессоръ сконфузился и торопливо проговорилъ:

— Къ чему спрашиваю? Такъ, къ слову пришлось, ну... ну и спросилъ.

И онъ рѣшительно принялся за газеты.

Но читалъ онъ ихъ сегодня разсѣянно и, не докончивъ чтенія, задумался.

## II.

— Ну, что новаго въ газетахъ, папочка?

Съ этими словами Танечка вошла на террасу и, приблизившись твердой, увѣренной походкой къ отцу, поцѣловала его въ лобъ.

При видѣ своей Танечки, старикъ весь просвѣтлѣлъ. Во взглядѣ его свѣтилось столько любви, восторга и умиленія, что сразу было видно, что отецъ боготворилъ свою дочь.

Она вся сіяла блескомъ молодости, свѣжести и красоты, эта невысокаго роста, отлично сложенная, съ пышными формами блондинка, лѣтъ двадцати двухъ, съ красиво посаженной головкой на молочной, словно выточенной шеѣ, съ большими сѣро-зелеными глазами и роскошными золотистыми, зачесанными назадъ волосами, вившимися на вискахъ. На ней было лѣтнее голубое платье съ прошивками на груди и рукавахъ, сквозь которыя виднѣлось ослѣпительной бѣлизны тѣло. На мизинцахъ маленькихъ холеныхъ рукъ блестѣли кольца.

Наружностью своей она нисколько не походила на отца.

У профессора было сухощавое, продолговатое, смугловатое лицо съ высокимъ лбомъ, изъподъ котораго кротко и вдумчиво глядѣли темные, еще сохранившіе блескъ, глаза, и вся его интеллигентная физіономія дышала выраженіемъ той одухотворенности, которая бываетъ у людей мысли.

Чѣмъ-то слишкомъ трезвымъ и житейскимъ, законченнымъ и опредѣленнымъ вѣяло, напротивъ, отъ всей крѣпкой, граціозной фигурки Танечки, отъ ея круглаго хорошенькаго личика

съ родимыми пятнышками на пышныхъ щекахъ, съ задорно приподнятымъ носомъ и алыми тонкими губами,—отъ ея большихъ глазъ, ясныхъ и увѣренныхъ, во взглядѣ которыхъ свѣтился умъ практической природы.

Она стояла передъ отцомъ свѣжая, блестящая, спокойно-улыбающаяся, показывая рядъ красивыхъ мелкихъ бѣлыхъ зубовъ, видимо привыкшая, что ея любятъ, и сознающая свою власть надъ любящимъ сердцемъ старика. Что-то граціозно-кошачье было и въ ея позѣ, и въ ея улыбкѣ.

— Такъ что-же новаго въ газетахъ, папа?— повторила она свой вопросъ.

— Да ничего новаго... Все одно и то же...

Присѣвъ къ столу, Танечка взяла газету и съ видимымъ удовольствіемъ стала читать фельетонъ. По временамъ на ея лицѣ появлялась улыбка.

— Нравится?—спросилъ профессоръ, не спускавшій глазъ съ Танечки.

— Ничего себѣ... забавно!.. — отвѣтила Танечка.

— Однако, я тебѣ мѣшаю... Читай, а я пойду къ себѣ... позаймусь немного и сосну чашокъ передъ обѣдомъ...

И старикъ удалился, ласково погладивъ свою любимицу по ея золотистымъ волосамъ.

Оставшись одна, Танечка впиалась въ фелье-

тонъ. Веселая, довольная улыбка не сходила съ ея личика.

Въ саду раздались торопливые шаги. Танечка ихъ услышала и отлично знала чьи это шаги, но головы не повернула и еще болѣе углубилась въ газету.

— Здравствуйте, Татьяна Алексѣевна, — раздался около нея радостный, нѣсколько взволнованный мужской голосъ.

— Ахъ, это вы, Петръ Александровичъ? — какъ будто удивилась она. — Здравствуйте! — любезно промолвила Танечка и, отложивъ газету, протянула свою маленькую бѣлую ручку Поморцеву. Тотъ крѣпко сжалъ ее въ своей широкой, мясистой рукѣ.

Поморцевъ былъ молодой, недурной собою брюнетъ лѣтъ тридцати. Свѣжее, румяное лицо его, съ мягкими чертами, было опушено вьющейся черной бородкой. Онъ выпустилъ руку хорошенькой Танечки и смотрѣлъ на нее черезъ очки своими черными, бархатными глазами, словно очарованный. Восторгъ влюбленнаго сіялъ у него на лбу.

— Что такъ поздно?

— Задержали меня въ городѣ, Татьяна Алексѣевна! А то бы я, разумѣется, поспѣшилъ надобѣсть вамъ! — говорилъ онъ мягкимъ, пріятнымъ теноркомъ, благоговѣнно любуясь Танеч-

кой и нервно пощипывая дрожащими пальцами свою шелковистую бородку.

И, присаживаясь около Танечки, прибавилъ пониженнымъ тономъ:

— Еслибъ вы знали, какъ вамъ идетъ это платье, Татьяна Алексѣевна!

А его лицо какъ будто договаривало: «И какъ я васъ люблю, милая дѣвушка!»

— А вы думаете я не знаю, что идетъ? Отлично знаю!—засмѣялась Танечка.

— Не сомнѣваюсь.

— А папа васъ ждалъ къ завтраку—и ужь думалъ, что вы не пріѣдете.

— А вы конечно не ждали?—шутливо промолвилъ Поморцевъ.

— Конечно, нѣтъ!—отвѣтила она, вздергивая кверху капризно головку. Этотъ надменный жестъ очень шелъ къ ней.

На лицо Поморцева набѣжала тѣнь. Онъ внезапно сдѣлался мраченъ и какъ-то весь съежился. Еще вчера ему сказали, что будутъ ждать его, а сегодня... «Нѣтъ, это невозможно... надо выяснить!» подумалъ онъ и вдругъ почувствовалъ себя глубоко несчастнымъ.

А Танечка черезъ минуту уже говорила:

— Къ чему мнѣ было ждать? Я и такъ была увѣрена, что вы пріѣдете... навѣститъ папу!—лукаво прибавила она.

И, словно пробуя свою власть мѣнять состоя-

ніе духа Поморцева по своему желанію, — власть, которою Танечка пользовалась широко, — она такъ ласково, такъ нѣжно взглянула на Поморцева, чуть-чуть шуря свои глаза, что Петръ Александровичъ снова просіялъ, и снова надежда согрѣла его сердце.

Онъ помолчалъ и спросилъ:

— А вы не сердитесь на меня?

— Я? за что?

— За вчерашній споръ... Я всегда наговорю лишняго.

— И не думала. Я въ эти два года нашего знакомства привыкла къ вашимъ обвиненіямъ и знаю, что вамъ во мнѣ все не нравится.

— Что вы, что вы, Татьяна Алексѣевна!

И голосъ, и лицо Поморцева протестовали противъ этихъ словъ.

Но Танечка, какъ будто не замѣчая этого, продолжала:

— Я и слишкомъ трезвая, холодная натура, я и кокетка... однимъ словомъ я...

— Побойтесь Бога!.. воскликнулъ Поморцевъ, перебивая. — Ничего подобнаго я никогда не думалъ... Иногда, въ минуту раздраженія, срывались ѣдкія слова, но развѣ ихъ можно ставить въ упрекъ?.. Я говорилъ и повторяю опять, что вы часто клеветеете на себя, представляясь не той, какая вы на самомъ дѣлѣ...

— А какая я на самомъ дѣлѣ? — спросила

Танечка, поднимая на Поморцева свои ясные, большіе, улыбающіеся глаза.

Въ качествѣ влюбленнаго Поморцевъ, по отношенію къ Танечкѣ, совсѣмъ не пользовался высшимъ анализомъ и былъ слѣпъ какъ всѣ влюбленные идеалисты, а потому восторженно прошепталъ, словно изрекая неоспоримую математическую формулу:

— Вы?.. Вы прелестное существо, лучше котораго я не видалъ, Татьяна Алексѣевна!

Танечка усмѣхнулась.

— Вотъ и пойми васъ: то—прелестное существо, то... безсердечная кокетка!

— А, кажется, понять не трудно. Какъ вы думаете, Татьяна Алексѣевна? — чуть слышно проронилъ Поморцевъ.

Отвѣта не было. Поморцевъ заволновался и совсѣмъ затеребилъ свою бородку.

«Необходимо теперь же все выяснить!» думалъ онъ. Эта мысль не давала ему покоя и страшно пугала его. Какъ отвѣтитъ Танечка? По-временамъ ему казалось, что она болѣе чѣмъ расположена къ нему; по-временамъ онъ думалъ, что она къ нему равнодушна и только кокетничаетъ съ нимъ. Цѣлый годъ онъ испытываетъ подобную каторгу: то вѣрить, то сомнѣвается. Надо покончить.

И онъ рѣшительно сказалъ:

— Пойдемте гулять, Татьяна Алексѣевна!



— Жарко!—лѣниво протянула Танечка.

— Недалеко, къ морю... Тамъ не жарко.

Въ голосѣ его звучала мольба. Лицо было серьезно.

— Пожалуй, пойдете.

Танечка сходила за зонтикомъ, и молодые люди спустились къ дорогѣ, пересѣкли ее и пошли по густой, прохладной аллеѣ къ морю.

### III.

Сперва оба молчали. Поморцевъ шелъ, низко опустивъ голову, какъ человѣкъ, подавленный думами, или подсудимый, въ ожиданіи приговора. Танечка шла своей твердой, ровной походкой, чуть-чуть покачиваясь, и временами взглядывала изъ-подъ зонтика на Поморцева. Сегодня онъ былъ какой-то странный, не такой, какъ всегда. Танечка чувствовала по всему, что онъ позвалъ ее гулять для объясненія, и ждала его съ любопытствомъ. Ее интересовало, какъ онъ объяснится.

Это ожиданіе слегка взволновало и Танечку. Она стала напряженнѣе. Ясные и спокойные глаза ея оживились.

Поморцевъ поднялъ голову и взглянулъ на дѣвушку. Ея сіяющая красота словно ослѣпила его. Онъ отвернулся, стараясь пересилить овладѣвшее имъ волненіе.

— Такъ вы не понимаете, Татьяна Алексѣевна? А вѣдь, кажется, понять такъ легко!—вдругъ заговорилъ онъ и сталъ какъ-то особенно внимательно смотрѣть себѣ подъ ноги. Голосъ его слегка дрожалъ.

— Чего не понимаю?

— Что я безумно васъ люблю! — медленно, съ трудомъ выговаривая слова, произнесъ Поморцевъ, не поднимая головы.

Прошло нѣсколько мгновений, показавшихся молодому доценту безконечными.

И, наконецъ, точно поддразнивая его, Танечка сказала:

— Вы слишкомъ впечатлительны, Петръ Александровичъ, и любите страшныя слова. А я имъ не вѣрю.

Поморцевъ поднялъ голову и, недоумѣвая, смотрѣлъ на профиль Танечки. Казалось, онъ не понималъ смысла ея словъ.

А она, поникнувъ головкой, продолжала спокойно-ироническимъ тономъ:

— Вы немножко увлеклись мною... Это я знаю и этому вѣрю... А вамъ кажется, будто ужъ вы безумно любите... Это миражъ или, какъ вы выражаетесь, аффектъ, возведенный

въ кубъ... Лучше останемтесь по-прежнему добрыми пріятелями.

— Къ чему вы такъ говорите? Къ чему?— воскликнулъ, точно ужаленный, весь закипая, Поморцевъ. Зачѣмъ вы рисуетесь напускнымъ скептицизмомъ? Вы, въ двадцать-два года, не вѣрите въ любовь и называете ее аффектомъ? Вы просто издѣваетесь надо мной. Какъ вамъ не стыдно, Татьяна Алексѣевна!

Поморцевъ вдругъ остановился, взявъ Танечкину руку и, придерживая ее, продолжалъ страстнымъ шопотомъ, порывисто и торопливо бросая слова, словно боясь, что не успѣетъ сказать всего, чѣмъ было переполнено его сердце:

— Слушайте, милая дѣвушка... Это не увлеченіе, не аффектъ... Я не юноша... Я провѣрялъ себя и у меня не легкомысленный характеръ... Я люблю васъ второй годъ... За что? Почему? Я не знаю, но чувствую, что люблю, что безъ васъ жизнь теряетъ свою прелесть, и другихъ женщинъ для меня не существуетъ... Вы, одна вы, всегда и вездѣ... О васъ всѣ думы... Люблю васъ, какая вы есть... И вашъ характеръ, и ваше дьявольское спокойствіе, и ваши глаза, и ваши крошки-руки, и вашъ голосъ... Люблю и за то, что вы мучаете меня, вѣчно оставляя въ сомнѣніи... Люблю васъ всю, всю люблю съ макушекъ до пятокъ и не вѣрю вашему безотрадному скептицизму, вашимъ

взглядамъ на жизнь... Понимаете-ли, не вѣрю... Вы клевете на себя... Вы добрая, чудная, и я не могу васъ не любить!.. говорилъ онъ, и слезы стояли у него въ глазахъ.

Нѣтъ такой женщины, которая не слушала-бы съ радостнымъ чувствомъ удовлетвореннаго самолюбія любовнаго признанія даже отъ чело-вѣка, къ которому равнодушна, если только онъ не очень старъ, не очень безобразенъ и не слишкомъ глупъ.

И Танечка, вся торжествующая и тронутая, съ удовольствіемъ внимала этой искренней и горячей пѣсни любви. Каждое слово Поморцева ласкало ее, пробираясь къ сердцу и волнуя молодую кровь. Глаза ея блестѣли. Она вся при-тихла, словно очарованная.

— Теперь вы вѣрите? Вѣрите, что я васъ безумно люблю?—допрашивалъ Поморцевъ, за-глядывая Танечкѣ въ глаза.

— Вѣрю!—проронила Танечка и пожала По-морцеву руку.

— А вы? Вы любите-ли меня? Хотите-ли быть моей женой?

Танечка тихо высвободила свою руку изъ горячей руки Поморцова и сказала:

— Я очень расположена къ вамъ... Вы мнѣ нравитесь, Петръ Александровичъ, но я отказы-ваюсь отъ чести быть вашей женой.

Поморцевъ безнадежно опустилъ голову.

— Рѣшительно?—глухо промолвилъ онъ.

— Рѣшительно!—твердо отвѣтила Танечка.

Они повернули назадъ къ дому.

— Вы не сердитесь на меня, Петръ Александровичъ,—заговорила Танечка черезъ минуту, увидавъ убитое лицо Поморцева.

— За что сердиться?—угрюмо вставилъ онъ.

— Надо быть благоразумнымъ...

— Еще бы!

— Подумайте: у меня ничего нѣтъ и у васъ ничего нѣтъ.

Молодой человѣкъ съ изумленіемъ взглянулъ на Танечку и, весь вспыхивая, проговорилъ:

— Какъ ничего?.. У меня уроки... Сколько угодно будетъ уроковъ, и наконецъ, не вѣчно же я буду доцентомъ...

— Меня не удовлетворитъ эта сѣренькая, полубѣдная жизнь, эти вѣчныя заботы о завтрашнемъ днѣ... Довольно ихъ... Я хочу спокойной, обезпеченной жизни... Я люблю блескъ и роскошь... Вотъ, какая я...

— Вы опять лжете на себя, Татьяна Алексѣевна.

— Какъ видите, не лгу! Я выйду замужъ только за богатаго человѣка!

— Даже не любя его?

— Любовь понятіе относительное... Я не такая идеалистка, какъ папа и вы! — прибавила

Танечка. — Любовь проходить, а жизнь вся впереди...

— Да понимаете-ли вы, что говорите?—воскликнул Поморцевъ, задыхаясь.—Вы собираетесь продать себя?

— Опять страшныя слова!?! — усмѣхнулась Танечка.—Я не собираюсь продавать себя, я просто благоразумно выйду замужъ.

Поморцевъ все еще не вѣрилъ. Онъ думалъ, что «прелестное существо» нарочно лжетъ, чтобы поскорѣе излѣчить его отъ любви. Онъ пристально посмотрѣлъ въ ея хорошенькое личико. Ни признака волненія. Ни черточки стыда. Оно было ясно, спокойно и увѣренно. Кажалось, Танечка даже не понимала, что говорить безнравственныя вещи.

Поморцевъ ужаснулся отъ этого открытія. Тоска и злоба овладѣли имъ. Онъ ненавидѣлъ и въ то-же время страшно любилъ эту хорошенькую блондинку, такъ жестоко разрушившую его иллюзію.

Когда они подходили къ дому, Танечка мягко промолвила:

— Надѣюсь, Петръ Александровичъ, мы останемся друзьями? Вы не перестанете хоть изрѣдка навѣщать насъ?

— Я на-дняхъ уѣзжаю.

— Уѣзжаете?..—удивилась Танечка.

— Да, къ своимъ старикамъ на югъ.

Старый профессоръ ждалъ молодыхъ людей на террасѣ и встрѣтилъ ихъ, веселый и радостный. Тотчасъ же сѣли обѣдать. И только за столомъ старикъ замѣтилъ, что его молодой другъ былъ мраченъ, хотя и старался скрыть это, съ какимъ-то ненатуральнымъ увлеченіемъ рассказывая профессору о новыхъ работахъ какого-то математика... Вошининъ взглянулъ на Танечку. Та, по обыкновенію, спокойно и привѣтливо исполняла обязанности хозяйки...

Вскорѣ послѣ обѣда Поморцевъ собрался уѣзжать.

— Куда вы?—удивился Вошининъ.

— Нужно, Алексѣй Сергѣичъ!

— Нужно, такъ не стану удерживать!

Поморцевъ угрюмо простился съ Танечкой и сталъ-было прощаться съ профессоромъ, но старикъ сказалъ, что проводить его до дороги.

Когда они вышли за калитку сада и отошли отъ дачи, старый профессоръ спросилъ:

— Говорили съ ней?

— Говорилъ.

— И что-же?

— Отказала!

— Отказала?—съ горячимъ участіемъ переспросилъ профессоръ.—Ахъ какъ жаль, голубчикъ мой, какъ мнѣ жаль... А я лелѣялъ эту мысль... Думалъ: будемъ всѣ вмѣстѣ жить... Но почему она отказала?

— Почему?.. Пусть Татьяна Алексѣевна вамъ сама лучше объяснить почему! — съ сердцемъ воскликнулъ Поморцевъ.

И, вдругъ спохватившись и жалѣя старика, прибавилъ:

— Впрочемъ, нѣтъ... Лучше не спрашивайте ее, Алексѣй Сергѣичъ... Право, лучше не спрашивайте... Къ чему волновать Татьяну Алексѣевну разспросами?.. Извѣстно, отчего барышни отказываютъ нашему брату. Не любить!

— А мнѣ казалось, что Танечка очень расположена къ вамъ...

— Расположеніе не любовь... И мнѣ казалось... Ну прощайте, дорогой Алексѣй Сергѣичъ... Спасибо вамъ за вашу привязанность... Мѣсяца два мы не увидимся.

— Это что значитъ?

— Завтра ѣду къ своимъ старикамъ.

Старый профессоръ горячо пожалъ руку своего молодого друга и сказалъ:

— А вы, голубчикъ, все-таки не унывайте... Еще, быть можетъ, не все потеряно... Она передумаетъ.

— Нѣтъ, все! — безнадежно отвѣтилъ Поморцевъ.

«И для тебя она потеряна, бѣдный, славный старикъ!» подумалъ Поморцевъ и пошелъ, не оглядываясь, по той самой дорогѣ, по которой



онъ еще недавно ходилъ радостный и полный надеждъ.

## IV.

Старый профессоръ все ждалъ, что Танечка скажетъ ему о предложеніи Поморцева и объяснитъ причину отказа. Ему казалось, что она была равнодушна къ молодому человѣку и подавала ему надежды. На основаніи этихъ заключеній онъ и лелѣялъ мысль о бракѣ Танечки съ Поморцевымъ, считая Поморцева прелестнымъ человѣкомъ.

Но Танечка, по обыкновенію привѣтливая, ласковая и внимательная съ отцомъ, молчала, видимо избѣгая объясненія. Когда приходилось упоминать имя Поморцева, она говорила сочувственно, оставаясь совершенно спокойной. Крайне деликатный въ такихъ дѣлахъ, старикъ не только не спрашивалъ Танечку, но даже не позволялъ себѣ намека и дѣлалъ видъ, что считаетъ внезапный отъѣздъ Поморцева самымъ естественнымъ дѣломъ.

Тѣмъ не менѣе молчаніе Танечки сперва очень обидѣло старика. Ему было больно, что Танечка таится отъ него. Могла же она открыться ему,

своему вѣрному пѣстуну и другу? Знаетъ же она, какъ горячо и безпредѣльно любитъ онъ свою Танечку, и увѣрена, что никогда онъ не станетъ насиловать выбора ея сердца. Боже сохрани!

Но любящій старикъ, всегда какъ-то умѣвшій оправдывать свою любимицу, и теперь старался объяснить ея молчаніе женской скромностью и вообще сдержаннымъ, мало экспансивнымъ характеромъ Танечки.

«Это ея интимное дѣло, о которомъ ей, вѣроятно, неловко говорить и съ отцомъ. Богъ ихъ знаетъ, этихъ женщинъ. Онѣ совсѣмъ особенныя существа!»—думалъ старый профессоръ, очень мало знавшій женщинъ, кромѣ одной,—своей покойной жены, и, какъ добросовѣстный человѣкъ, не обобщавшій по одному факту своихъ понятій о женщинахъ.

Объяснить себѣ какъ-нибудь иначе молчаніе Танечки онъ не умѣлъ. Не могъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, подумать, что Танечка его, ненаглядная Танечка, которую онъ одинъ пѣствовалъ и лелѣялъ съ десятилѣтняго возраста, не имѣетъ довѣрія къ отцу? Онъ не заслужилъ этого. Танечка, кажется, знаетъ, что душа его открыта для нея. Онъ всегда, бывало, дѣлился съ нею впечатлѣніями, высказывалъ передъ ней свою вѣру въ людей, свои задушевные мнѣнія, повѣрялъ свои неприятности, искалъ ея сочув-

ствія и одобренія и даже пускался передъ ней въ философскія отвлеченія. Старикъ любилъ ихъ и былъ увѣренъ, что и Танечкѣ должно нравиться все возвышенное, хорошее и честное.

Не желая огорчать отца, Танечка внимательно иногда выслушивала старика и не всегда понимала его. Она не охотница была до отвлеченій и до серьезныхъ бесѣдъ. Окружавшая ее съ дѣтства атмосфера, споры и разговоры мало вліяли на Танечку, и она не полюбила ни серьезныхъ занятій, ни серьезнаго чтенія. Жизнь со всѣми ея прелестями болѣе занимала ее. Она окончила курсъ въ гимназiи и дальше не пошла. Отецъ, завзятый идеалистъ, въ свое время пострадавшій за свой образъ мыслей, считалъ дочь умницею и вообще образцомъ совершенства и, разъ составивши себѣ такое мнѣніе съ давнихъ поръ, продолжалъ смотрѣть на свою «дѣвочку» глазами очарованнаго отца. Онъ страстно любилъ ее, никогда не анализируя, и не замѣчалъ, что то, что волнуетъ его самого, оставляетъ ее равнодушнымъ и безучастной. Увлеченный, онъ часто не замѣчалъ, что Танечка подавляетъ зѣвоту, слушая отцовскія теоріи, стараясь свести разговоръ на болѣе низменную почву. Это было какое-то ослѣпленное непониманіе. Иногда его удивляло ея равнодушіе къ жгучимъ вопросамъ, ея скептическое отношеніе къ людямъ, но онъ приписывалъ все это особому свойству ея ума,

а страсть ея къ удовольствіямъ и нарядамъ — молодости. Придетъ время, и все это пройдетъ.

Самъ дитя въ практическихъ дѣлахъ, простодушный и довѣрчивый, не даромъ прозванный Танечкой Эоловой арфой, старый профессоръ тѣмъ болѣе удивлялся и приходилъ въ восторгъ отъ трезваго, практическаго ума молодой дѣвушки. Она рѣдко ошибалась въ людяхъ и довольно тонко умѣла опредѣлять отношенія. Наблюдательная и не особенно словоохотливая, Танечка отлично подмѣчала слабости и смѣшныя стороны людей и, когда отецъ, бывало, принимался кого-нибудь хвалить, она подчеркивала недостатки. Отецъ горячо спорилъ. Дочь никогда не спорила, — она только констатировала, какъ она выражалась, слегка подтрунивая надъ увлеченіемъ отца. Это были діаметрально противоположныя натуры.

Весь домъ былъ у нея на рукахъ. Танечка распоряжалась всѣмъ, вела хозяйство въ образцовомъ порядкѣ, сама заказывала платье отцу, оплачивала счета его сапожника и выдавала профессору карманные деньги. Прежде, бывало, ему не хватало жалованья, — онъ какъ-то ухитрялся раздавать деньги; но съ тѣхъ поръ, какъ Танечка, по окончаніи курса, взяла бразды правленія въ свои умѣлыя ручки, все пошло иначе. Имъ хватало на все, и Танечка всегда хорошо одѣвалась. Она постепенно отъучила старика отъ раздачи денегъ.

— Нельзя-же помогать всѣмъ бѣднымъ студентамъ, когда самимъ едва хватаетъ. Мы со всѣмъ не богаты, папочка!

Такъ говорила Танечка, ласково улыбаясь своими ясными глазами, и отецъ невольно подчинялся ея неотразимымъ доводамъ.

Она пользовалась полной самостоятельностью и имѣла своихъ знакомыхъ. Знакомые отца не удовлетворяли ее. Эти старые профессора и увлекающіеся студенты ей были скучны, какъ и ихъ бесѣды. Ее тянуло къ другимъ людямъ, и дома ей не сидѣлось. Когда профессоръ бывалъ на лекціяхъ, она бывала въ гостяхъ или бѣгала по магазинамъ, возвращаясь къ обѣду домой, чтобъ отцу не было скучно обѣдать одному. Разъ въ недѣлю они вмѣстѣ съ отцомъ ходили въ оперу. Остальные вечера Танечка бывала или въ театрѣ, или у своихъ знакомыхъ. Самъ отецъ всегда предлагалъ ей развлечься.

«Она молода!» думалъ старикъ. «Со мною вдвоемъ коротать вечера ей скучно!»

Но, случалось, онъ сожалѣлъ, что ему приходится по вечерамъ одному наслаждаться чтеніемъ многихъ прекрасныхъ вещей и что Танечки нѣтъ тутъ подлѣ. Оживленная и нарядная, Танечка возвращалась изъ гостей, цѣловала отца и, присаживаясь, передавала свои впечатлѣнія, и старикъ забывалъ все, слушая остроумную, спокойно насмѣшливую болтовню Та-

нечки о разныхъ лицахъ, и весело смѣялся, съ восторгомъ любуясь своей умной «дѣвочкой».

Лѣто кончилось. Стоялъ конецъ августа, ненастный и дождливый. Вошинины собирались переѣзжать въ городъ.

Старикъ сидѣлъ какъ-то вечеромъ въ кабинетѣ за книгой. Танечки не было дома. Она послѣ обѣда ушла въ гости къ однимъ дачникамъ, съ которыми познакомилась лѣтомъ. Не нравились профессору эти новые знакомые — Искерскіе, совсѣмъ не ихъ круга, совсѣмъ другихъ взглядовъ и привычекъ, праздные, богатые люди, жившіе въ недалекомъ сосѣдствѣ, въ собственной роскошной дачѣ-особнякѣ. Особенно не нравился Алексѣю Сергѣевичу братъ Искерскаго, господинъ лѣтъ за сорокъ, помятый, старѣющій франтъ, изрекавшій съ необыкновеннымъ апломбомъ разныя пошлости въ современномъ вкусѣ. Онъ видимо шеголялъ и своими взглядами, и своими изысканными манерами, и своимъ фатовствомъ, и произвелъ на стараго профессора отвратительное впечатлѣніе.

Вощининъ отдалъ Искерскимъ визитъ и больше не бывалъ у нихъ, но Танечка въ послѣднее время часто навѣщала Искерскихъ; гуляла съ ними, каталась въ ихъ экипажѣ, бывала вмѣстѣ на музыкѣ въ Ораніенбаумѣ.

Старику это казалось страннымъ, но онъ, по обыкновенію, ничего Танечкѣ не говорилъ.

Онъ взглянулъ на часы. Скоро восемь часовъ.

— Вѣрно Танечка къ чаю вернется!—проговорилъ старый профессоръ.

И дѣйствительно, черезъ нѣсколько минутъ внизу раздался голосъ Танечки, и вслѣдъ затѣмъ на лѣстницѣ слышались ея шаги.

Она вошла въ кабинетъ. Старикъ отложилъ книгу и радостно взглянулъ на дочь.

— Папочка! Я пришла тебѣ сообщить очень важную вещь!—проговорила она необыкновенно серьезнымъ тономъ.

— Что такое, моя родная?.. Какая такая важная вещь?

— Сейчасъ Николай Николаичъ Искерскій сдѣлалъ мнѣ предложеніе.

— И ты, конечно, отказала этому шуту гороховому, моя дѣвочка?—смѣясь отвѣтилъ старикъ.

— Нѣтъ, папа. Я приняла его предложеніе!—чуть слышно, но твердо произнесла Танечка.

Старикъ, казалось, не слышалъ. Онъ во всѣ глаза смотрѣлъ на Танечку. Лицо его выражало испугъ и изумленіе.

— Что ты сказала, Танечка?—переспросилъ онъ.

— Я сказала, что приняла предложеніе.

— Тебѣ понравился Искерскій... этотъ...

Онъ не досказалъ фразы.

— Неужели это правда, Танечка? Неужели ты предпочла его Петру Александровичу?

— У Поморцева ничего нѣтъ. Чѣмъ бы мы жили?

Старикъ слушалъ, пораженный и подавленный. Слова ея точно молотомъ ударяли его по головѣ и разрывали бѣдное любящее сердце.

— А этотъ... господинъ Искерскій очень богатъ?—глухо, съ видимымъ страданіемъ, произнесъ старикъ.—Ты, слѣдовательно, собираешься выйти замужъ по расчету. Вѣдь не могла же ты полюбить такого человѣка... Или полюбила?—ядовито прибавилъ онъ.

— Я его не люблю, но... но онъ не хуже другихъ. Онъ вовсе не такой дурной человѣкъ, какъ ты думаешь, папа... Не всѣмъ же имѣть одинаковые взгляды съ тобой.

Старикъ все ниже и ниже опускалъ свою сѣдую львиную голову, словно подъ бременемъ позора.

— Танечка, Танечка! — вдругъ воскликнулъ онъ, и въ старческомъ его голосѣ стояли рыданія, — вѣдь ты пошутила, моя голубка... Да? Вѣдь ты шутишь, неправда-ли?.. Вѣдь ты не



сдѣлаешь такой гадости... Ты вѣдь не такая испорченная, моя дѣвочка...

Танечка хранила молчаніе.

Отецъ взглянулъ на ея красивое личико, взглянулъ въ ея ясные, слишкомъ ясные глаза, и вдругъ вспомнилъ свою покойную красавицу-жену.

«Такая-же! Такая-же!» пронеслось у него въ головѣ и словно озарило ее неожиданнымъ открытіемъ. Гнетущая скорбь охватила его всего. Скорбь и презрѣніе. Ему вдругъ показалось, что передъ нимъ не его любимая взлелѣянная дѣвочка, не его славная, честная Танечка, а какая-то другая, чужая, злая дѣвушка, которая пришла оскорбить его самую лучшія вѣрованія, осквернить самую чистую любовь.

И онъ совсѣмъ опустилъ свою голову. Ему было стыдно и больно взглянуть на дочь.

Нѣсколько мгновений царило молчаніе. Старикъ точно окаменѣлъ въ своемъ креслѣ.

— Такъ что-же, папа, ты согласенъ? Можетъ Николай Николаевичъ просить твоего согласія?—спросила Танечка.

— Дѣлайте, какъ знаете!—прошепталъ онъ.

Танечка ушла. Старикъ еще долго сидѣлъ въ креслѣ, неподвижный, переживая свое горе. Стаканъ съ чаемъ стоялъ не тронутый на его столѣ. Ужь стало свѣтать, а старикъ все сидѣлъ, стараясь понять, какъ это Танечка могла такую

вырости у него на глазахъ. Не онъ-ли самъ виновать въ этомъ? Или это знаменіе времени?

По-временамъ онъ прислушивался къ шороху, словно ждалъ: не придетъ-ли Танечка и не скажетъ-ли она, что пошутила, что хотѣла только испытать отца. Но Танечка не приходила. Старикъ чувствовалъ, что отнынѣ онъ совсѣмъ одинокъ, и скорбныя слезы незамѣтно текли изъ глазъ профессора.

ИСПОРЧЕННЫЙ ДЕНЬ.



# Испорченный день.

## I.

Въ этотъ ясный и солнечный декабрьскій морозный день Дмитрій Александровичъ Черенинъ, главный контролеръ крупнаго петербургскаго банка и членъ нѣсколькихъ дѣловыхъ Обществъ, — въ пятомъ часу подѣхалъ къ подъѣзду большаго дома на Кирочной, необыкновенно веселый и возбужденный. Неудержимая улыбка счастья и довольства свѣтилась на его красивомъ, молодомъ и умномъ лицѣ. Черные быстрые глаза искрились.

Онъ далъ извознику двугривенный на чай, какъ-то особенно привѣтливо улыбнулся рыжему швейцару Егору, котораго еще вчера за что-то распѣкъ, и, взбѣжавъ, не переводя духа, въ четвертый этажъ, нервно и сильно надавилъ

пуговку электрическаго звонка у дверей своей квартиры.

— Барыня дома?—весело спросилъ онъ, тяжело дыша, молодую горничную Пашу, сбрасывая на ея руки шубу съ заиндевѣвшимъ воротникомъ.

— Дома-съ.

— Никого нѣтъ?

— Никого.

— Отлично!

И, бросивъ на столъ мерлушечью шапку и перчатки, Черенинъ, не заходя въ кабинетъ, что обыкновенно дѣлалъ, возвращаясь со службы, быстрыми и легкими шагами, слегка раскачиваясь своимъ крѣпкимъ, плотнымъ корпусомъ, направился черезъ гостинную и столовую въ комнату жены.

Въ этомъ гнѣздышкѣ, видимо свитомъ заботливой и умѣлой женской рукой, свѣтломъ, уютномъ и тепломъ, гдѣ весело потрескивали сухія дрова въ каминѣ,—на мягкомъ низенькомъ диванчикѣ сидѣла, съ книжкой журнала въ рукахъ, маленькая хорошенькая блондинка лѣтъ около тридцати, съ пепельными волосами, гладко зачесанными назадъ и собранными въ пышныя косы. Мягкая шерстяная ткань темносиняго платья обливала красивыя формы молодой женщины.

При появленіи изъ-за портьеры мужа, весе-

лаго и радостнаго, и эта маленькая женщина вдругъ вся засвѣтилась радостной улыбкой, полной любви и сочувствія. Улыбалось ея миловидное личико, нѣжное и кроткое, отливавшее розоватымъ цвѣтомъ легкаго румянца, улыбались ея крупныя сочныя алыя губы, между которыми сверкалъ ослѣпительной бѣлизной рядъ красивыхъ зубовъ, улыбались ея большіе каріе ясные глаза, глядѣвшіе изъ-подъ густыхъ рѣсницъ съ ласковой мягкостью любящей и любимой женщины.

— Ну, поздравь, Катя, съ большой новостью!— еще на ходу проговорилъ Черенинъ, спѣша сообщить женѣ радостную вѣсть.— Я назначенъ директоромъ нашего банка!

— Ты, Митя?.. Директоромъ!— взволнованно, словно не смѣя вѣрить этому извѣстію, проронила молодая женщина, и щеки ея залились яркой краской.

— Пятнадцать тысячъ въ годъ и два процента съ чистой прибыли!— продолжалъ Черенинъ слегка приподнятымъ торжественнымъ тономъ. — Это, Катя, значитъ еще по меньшей мѣрѣ десять тысячъ!.. Контрактъ на три года...

И, присѣвши на диванъ, Черенинъ обнялъ жену и, цѣлуя ея пухлую атласную щеку, на которой чернѣло маленькое родимое пятнышко, весело промолвилъ своимъ мягкимъ, нѣскольکو пѣвучимъ голосомъ:

— Ну, что, довольна, Катя, а?

Праздный вопрос!

Она въ первую минуту совсѣмъ обомлѣла отъ радости, эта миниатюрная женщина съ большими кроткими глазами, и смотрѣла на мужа съ выраженіемъ гордости и любви. Она страстно его любила, но успѣхъ его, казалось, еще усиливалъ ея чувство уваженія и благоговѣйнаго восторга къ этому красивому, статному брюнету въ темномъ кургузомъ вестонѣ, съ кудрявой головой и большой черной бородой, — свѣжему, румяному и веселому, казавшемуся совсѣмъ молодымъ, не смотря на свои сорокъ лѣтъ.

Вмѣсто отвѣта, она обвила маленькими бѣлыми ручками шею мужа, крѣпко, крѣпко поцѣловала его и горячо промолвила:

— Я рада и за тебя и за дѣтей, голубчикъ...

— Не ожидала такого сюрприза, Катя?

— Не ожидала, Митя... Вѣдь у тебя нѣтъ связей въ финансовомъ мірѣ... Нѣтъ протекціи... Одна свѣтлая голова, мой милый!

— Да, у меня бабушекъ нѣтъ! — горделиво подтвердилъ Черенинъ. — Пять тысячъ, что они мнѣ платили четыре года, какъ пригласили контролеромъ, я получалъ не даромъ. Работать я умѣю и дѣло понимаю... Это всѣ въ банкѣ знаютъ... Признаться, и я не ожидалъ, что мнѣ предложатъ такое мѣсто... Мало-ли на него охотниковъ среди родственниковъ финансовыхъ ту-



зовъ! Однако, наши банковые патриціи поняли, что я дѣло поведу хорошо. Этотъ милліонеръ Ковригинъ, предсѣдатель правленія, даромъ, что мужикъ, а уменъ и умѣетъ оцѣнивать людей... Онъ, кажется, меня и предложилъ...

— А Крафта куда?

— Крафтъ уходитъ. Не ладилъ онъ послѣднее время съ нашими директорами. Рутинеръ былъ этотъ старикъ-нѣмецъ. Рутинеръ и упрямъ. И облѣнился подъ-конецъ. Опочилъ на лаврахъ... Да ему что? У него двѣсти тысячъ состоянія... Онъ да старуха жена... Уѣдутъ въ свой Мекленбургъ и будутъ благоденствовать.

Черенинъ, веселый и возбужденный, передавалъ женѣ подробности сегодняшняго дня: какъ утромъ у Крафта было бурное объясненіе съ Ковригинымъ, послѣ котораго Крафтъ объявилъ, что больше служить не намѣренъ. Но эта угроза не подѣйствовала, какъ, бывало, въ прежнее время, и ему сказали, что его не удерживаютъ... Вскорѣ послѣ этого позвали въ правленіе его, Черенина, и предложили мѣсто Крафта... Онъ имъ поставилъ свои условія. Все было окончено въ полъ-часа, и онъ вышелъ оттуда директоромъ одного изъ крупныхъ банковъ. Скоро новость эта облетѣла банкъ и всѣ его поздравляли... А помощникъ директора Линскій позеленѣлъ, бѣдный, отъ злости.

— Онъ ждалъ, что его назначать?

— Вѣроятно... Протекція у него большая: зять одного изъ членовъ правленія, племянникъ бывшаго министра...

— Теперь онъ, конечно, уйдетъ изъ банка?— предусмотрительно спросила жена, у которой сейчасъ же явилась мысль, что Линскій будетъ вредить мужу.

— А не знаю... Я его выживать не стану. Во всякомъ случаѣ, ему придется очень долго ждать моего мѣста,— усмѣхнулся Дмитрій Александровичъ... — Я своего мѣста изъ рукъ не выпущу, будь покойна, Катя... Съ директорами ладить съумѣю, а, главное, дѣло понимаю лучше ихъ всѣхъ. Они это знаютъ... Да, Катя, не выпущу, пока мы не отложимъ себѣ состоянія!..— рѣшительно прибавилъ онъ.

И словно бы желая мотивировать законность такого намѣренія, Черенинъ съ одушевленіемъ произнесъ:

— Какъ тамъ ни разсуждай теоретически о вредѣ капитала, а пока деньги, къ сожалѣнію, великая сила. Онѣ даютъ человѣку независимость. Мы и завоюемъ ее для себя и для нашихъ дѣтокъ... Жизнь не книжная теорія, и бѣдность въ наши дни порокъ! Не правда-ли, моя родная?..

Маленькая женщина лишь сочувственно улыбалась въ отвѣтъ на эти здравыя рѣчи, вся пе-

реполненная счастиемъ за мужа и за дѣтей. Разумѣется, она ни разу не вспомнила теперь объ иныхъ, совѣмъ иныхъ, горячихъ и восторженныхъ рѣчахъ своего мужа, которыя когда-то заставляли биться ея сердце и волновали все ея существо...

## II.

Они заговорили о томъ, какъ устроить жизнь при новомъ матеріальномъ положеніи, и входили въ разныя подробности съ радостнымъ чувствомъ людей, впервые располагающихъ большими средствами. Этотъ разговоръ, видимо, доставлялъ имъ наслажденіе, какъ дѣтямъ, получившимъ необыкновенную игрушку.

Они рѣшили проживать не болѣе десяти, двѣнадцати тысячъ въ годъ. Этого за глаза достаточно, чтобы жить хорошо, конечно, не особенно роскошествуя, но и не отказывая себѣ ни въ чемъ. Остальныя деньги они будутъ откладывать, помѣщая ихъ въ солидныя бумаги. Лѣтъ черезъ десять у нихъ будетъ не менѣе полутора ста тысячъ, то-есть тысячъ девять годового дохода. А будутъ дѣла банка хороши, и процентное вознагражденіе увеличится, слѣдо-

вательно, и отложить можно болѣе. Онъ надѣется, что такъ и случится.

Квартиру они съ осени перемѣнятъ, возьмутъ побольше, этакъ комнату въ восемь, чтобы у дѣтей была большая, свѣтлая дѣтская съ гимнастикой и отдѣльная классная комната съ рациональными столами и скамейками. Нужна тоже комната для гувернантки. Остановились на англичанкѣ рублей въ шестьсотъ, а французенка, попрежнему, будетъ приходить три раза въ недѣлю для практики. Вообще на образованіе дѣтей они обращаютъ особенное вниманіе и будутъ приглашать лучшихъ учителей.

— На это не слѣдуетъ жалѣть расходовъ. Ты вѣдь согласна, Катя?

— Конечно...

— Можно и лошадь свою держать, — продолжалъ Черенинъ. — Обойдемся пока одной. Купимъ фаэтонъ и сани... Ты съ дѣтьми будешь кататься, а я ѣздить на биржу... А лошадь куплю, конечно, сѣрую въ яблокахъ! — прибавилъ, улыбаясь, Дмитрій Александровичъ.

Жена его, дѣйствительно, когда-то мечтала о сѣрой собственной лошади и говорила объ этомъ мужу. А онъ вотъ теперь вспомнилъ!

— Милый ты мой! — шепнула Катерина Михайловна. — Надѣюсь, Митя, ты только купишь смирную?

— Еще бы! Самую смирную, чтобъ ты не

трусилась за дѣтей... Ну, а съ мебелью какъ? Подновить что-ли или купить для гостиной новую?

Катерина Михайловна почему-то вспомнила, какъ еще на-дняхъ ея пріятельница-кузина, жена прокурора, хвастала своей гостиной, и нашла, что новую мебель въ гостинную не мѣшаетъ.

— А будуаръ твой, Катя, мы сдѣлаемъ весь голубой... Хорошо?

— Еще бы не хорошо... Теперь есть отличные крепоны... Спасибо тебѣ, голубчикъ...

— Надѣюсь, ты теперь не будешь скупиться на свои туалеты, Катя?

— Богъ съ ними!..

— Нѣтъ, все-таки...

— Развѣ я худо одѣваюсь?

— Напротивъ, всегда мило, но тебѣ надо сдѣлать нѣсколько шикарныхъ платьевъ. Я люблю, когда ты изящно одѣта... Вѣдь ты у меня такая хорошенькая маленькая женщина!—нѣжно прибавилъ Черенинъ, цѣлуя руку жены.

Оба продолжали весело болтать, перескакивая съ предмета на предметъ и чувствуя себя какими-то имянинниками. Эти двадцать пять тысячъ содержанія словно окрасили весь міръ въ розовый цвѣтъ и словно увѣнчивали ихъ рѣдкое семейное счастье и взаимную любовь. Несмотря на десятилѣтнее супружество, эта ма-

ленькая, хорошо сложенная блондинка съ ослѣпительно бѣлымъ тѣломъ продолжала быть обаятельнымъ созданиемъ въ глазахъ мужа.

И Катерина Михайловна, конечно, отлично знала это, и съ тонкимъ кокетствомъ любящей женщины, понимавшей обаяніе своихъ чаръ, заботилась о томъ, чтобы продолжать нравиться мужу и быть для него не только любящей и преданной женой-другомъ, но и желанной любовницей. Всегда къ лицу одѣтая, свѣжая и миловидная, предусмотрительно заботившаяся и о своей красотѣ, и о своихъ капотахъ и щегольскихъ рубашкахъ,—она старалась быть привлекательной какъ женщина, никогда не показываясь мужу въ неряшливомъ видѣ. При этомъ она не отравляла его жизни ни ревностью, ни тираннической притязательностью, вполне доверяя мужу. И эта пара представляла собой рѣдкое олицетвореніе супружеской идилліи, подъ тихой сѣнью которой свило себѣ гнѣздо мирное эгоистическое благополучіе.

— Воображаю, какъ удивятся твои родные, Катя?—весело промолвилъ Черенинъ.

Катерина Михайловна усмѣхнулась, утвердительно кивнувъ головкой.

— Теперь они залебезятъ... а, помнишь, когда мы женились и жили въ двухъ комнатахъ на Пескахъ, получая семьдесятъ пять рублей въ мѣсяць? Какъ тогда каркали твои братцы и

сестрицы? Какъ жалѣли тебя?.. Теперь не то будетъ... Да, успѣхъ покоряетъ людей! Теперь и твой старшій братецъ найдетъ, что я очень умный человѣкъ! — съ ироническимъ смѣхомъ заключилъ Черенинъ.

— А ты все-таки пристроишь брата Колю? Ты это сдѣлаешь для меня, Митя?

— Пристрою, но пусть подождетъ... Нельзя сразу... Неловко... Надо осмотрѣться.

— И своего брата перевелъ бы къ себѣ. Анатолій—умница... Вотъ бы на твое прежнее мѣсто контролеромъ...

— Я ужь думалъ объ этомъ, Катя, но рѣшилъ подождать... Современемъ все сдѣлаемъ: и Толю переведемъ, и твоего брата пристроимъ... Но пусть только твои родные не рассчитываютъ на мѣста. Нельзя же насажать ихъ всѣхъ въ банкъ и сдѣлать изъ него родственную обитель. Это было бы совсѣмъ не умно!

Сообразительная маленькая женщина согласилась съ мужемъ.

Въ эту минуту въ комнату вбѣжали мальчикъ и дѣвочка, оба красивые, свѣжіе и веселые, въ щеголеватыхъ костюмчикахъ. Они радостно бросились къ отцу и стали шумно его цѣловать, объясняя, что madam Durand только-что ушла и они прибѣжали сюда.

Дмитрій Александровичъ посадилъ обоихъ къ себѣ на колѣни и, съ особенной нѣжно-

стью глядя на нихъ, сказалъ не безъ радостнаго умиленія:

— Да, Катя... Вотъ выростутъ наши голубчики, получатъ хорошее образованіе и не будутъ нищими... Имъ легко будетъ вступать въ жизнь.

Катерина Михайловна въ безмолвномъ восторгѣ тихо гладила руку мужа.

А девятилѣтній первенецъ Костя, бойкій, видимо избалованный мальчуганъ съ умными черными глазенками, похожій на отца, спросилъ:

— Мы развѣ могли быть нищими, папа?.. Я не хочу быть нищимъ,—прибавилъ онъ съ рѣшительнымъ видомъ.

— И я не хочу!.. Ни за что не хочу!—повторила младшая сестренка, похожая на херувима.—Нищіе такъ скверно одѣты. И имъ такъ холодно!

— И не будете, мои голубенькіе! Не будете, мои ненаглядные!—проговорила мать, и радостныя слезы показались у нея на глазахъ.

Паша доложила, что кушать подано. Всѣ перешли въ столовую. Обѣдъ прошелъ весело. Болтали и взрослые и дѣти. За жаркимъ Черенинъ приказалъ подать шампанскаго и чокался съ женой и дѣтьми и всѣхъ перецѣловалъ.

— Развѣ сегодня именины, мама, что у насъ шампанское?—спросилъ Костя.



— Нѣтъ, не имянины... Но сегодня папа получилъ новое мѣсто, на которомъ будетъ получать много-много денегъ!—весело отвѣчала Катерина Михайловна.

И дѣти, казалось, то-же прониклись важною того, что папа будетъ получать «много-много денегъ».

### III.

Вскорѣ послѣ обѣда Катерина Михайловна уѣхала. Ей ужасно хотѣлось поскорѣй сообщить новость матери и сестрамъ и похвастать передъ ними успѣхами мужа.

— Я скоро вернусь, а ты, вѣрно, подремлешь часокъ, Митя?—весело говорила она, цѣлуя мужа.

— Попробую.

Но сегодня Черенинъ рѣшительно не могъ «подремать часокъ», что дѣлалъ обыкновенно, примостившись на кушеткѣ въ комнатѣ жены. Сонъ не приходилъ. Онъ побылъ нѣсколько времени съ дѣтьми, поигралъ съ ними и, сдавъ ихъ на попеченіе няни, прошелъ въ кабинетъ.

Сперва онъ присѣлъ къ письменному столу, уставленному разными бездѣлками, среди кото-

рыхъ стояли фотографіи жены и дѣтей, и взялъ-было только что полученный номеръ «Revue Scientifique», но Дмитрію Александровичу не читалось и не сидѣлось на мѣстѣ. Онъ всталъ и быстрыми, нервными шагами заходилъ по комнатѣ, волнуемый роемъ радужныхъ мыслей.

«Отлично все устроилось. Отлично!» — мысленно повторялъ онъ, улыбаясь. — Теперь счастье въ рукахъ, надо только умѣть воспользо-ваться положеніемъ. Онъ долженъ сдѣлаться незамѣнимымъ человѣкомъ въ банкѣ и ближе сойтись съ этимъ умнымъ милліонеромъ Ковригинымъ! Это не трудно сдѣлать съ его умомъ и тактомъ. И онъ это сдѣлаетъ. Онъ будетъ главнымъ воротилою.

— Отлично... Отлично! — громко проговорилъ онъ, увлеченный мечтами.

И въ головѣ Черенина уже носились проекты новыхъ операцій и мелькали грандіозныя цифры ежегодной прибыли, два процента которой представляли собой внушительную цифру, гораздо болѣе предполагаемыхъ десяти тысячъ. А черезъ нѣсколько лѣтъ — цѣлое состояніе и независимость!

Перспектива вполне обеспеченной жизни безъ мелочныхъ заботъ и безъ стѣсненій изъза какой-нибудь сотни рублей, — жизни съ разумнымъ комфортомъ, съ удовлетвореніемъ духовныхъ потребностей развитаго интеллигент-

наго человѣка, вкусившаго отъ науки,—возбудила въ Черенинѣ какое-то особенное чувство удовольствія, впервые имъ испытываемое.

Слишкомъ взволнованный отъ радости, онъ не могъ сосредоточиться, и пріятныя мысли безпорядочно носились въ его головѣ. Онъ то присаживался, то снова ходилъ, то думалъ, какъ расширить дѣло и привлечетъ къ банку массу кліентовъ, какъ заберетъ постепенно въ руки своихъ «патриціевъ» и подтянетъ служащихъ, то покупалъ мысленно дачу, хорошенькую, уютную дачу въ Петергофѣ или въ Ораніенбаумѣ, или дарилъ женѣ изящный браслетъ, роскошную шубу изъ чернобурыхъ лисицъ и заказывалъ ей самъ тончайшія рубашки съ кружевными кокетками, то вдругъ припоминалъ, что ему повезло въ жизни именно съ тѣхъ поръ, какъ онъ женился на своей хорошенькой и доброй Катѣ и, бросивъ глупую мысль существовать одной литературой и быть человѣкомъ безъ опредѣленныхъ занятій, хотя и съ званіемъ кандидата математическихъ наукъ, поступилъ на службу въ Государственный банкъ,—какъ онъ скоро выдвинулся, благодаря своимъ способностямъ, труду и такту, и черезъ два года былъ уже инспекторомъ; какъ перешелъ оттуда въ частный банкъ, и вотъ теперь—директоръ съ большимъ содержаніемъ и членъ нѣсколькихъ Обществъ, въ которыхъ внима-

тельно слушаютъ, когда онъ тамъ говоритъ своимъ мягкимъ, убѣдительнымъ баритономъ краснорѣчиво-дѣловитыя рѣчи о торговлѣ и промышленности, о коммерческомъ флотѣ и тарифѣ.

Да, ему повезло въ жизни!

И снова радужныя мечты и надежды, чередуясь съ воспоминаніями, продолжаютъ пріятно волновать счастливаго Черенина.

Не вспоминаетъ онъ только о прежнемъ Черенинѣ, точно его и не было, когда, полный благородныхъ стремленій, молодой, смѣлый и влюбленный, онъ звалъ свою маленькую хорошенькую Катю, только-что окончившую гимназію, на служеніе ближнему, на борьбу съ невѣжествомъ, говорилъ искреннія, горячія рѣчи объ обязанности порядочнаго человѣка быть полезнымъ «младшимъ братьямъ» и рисовалъ картину ихъ будущей трудовой, скромной жизни, не похожей на жизнь «довольныхъ буржуа», живущихъ на счетъ народа.

И молодая дѣвушка трепетала отъ восторга, готовая идти за этимъ дьявольски-красивымъ брюнетомъ куда угодно, и добросовѣстно читала его политико-экономическія статьи, ратовавшія за новыя начала, громившія современный строй и банкратовъ—этихъ «общественныхъ паразитовъ», хотя и не всегда понимала эти статьи.

Онъ женился и скоро взялъ мѣсто, чтобы не писать, какъ онъ говорилъ, «изъ-подъ пал-

ки». Первое время онъ писалъ какое-то изслѣдованіе, жаловался на служебный «хомуть», но мало-по-малу втягивался въ него и тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе онъ приносилъ жалованья, забывая въ заботахъ о собственномъ благополучіи «служеніе ближнему» и значительно понижая тонъ своихъ рѣчей. Какъ-то незамѣтно онъ сталъ солиднѣе и менѣе воспріимчивъ, все рѣже и рѣже говорилъ объ «обязанностяхъ порядочнаго человѣка» и, занятый настоящимъ, по-немногу забывалъ прошедшее.

Жизнь засасывала его безъ всякихъ душевныхъ драмъ, а напротивъ, мягко и ласково, въ счастіи семейной жизни. Прежніе друзья и пріятели разбрелись. Одни, какъ и Черенинъ, успокоились, другихъ онъ потерялъ изъ вида и забылъ о нихъ. Литературныя знакомства давно порвались.

Шли годы, и Черенинъ, по-прежнему мягкій и добрый, сталъ уже скептически относиться къ возможности «служенію ближнему» и называлъ многое, чему прежде поклонялся, «симпатичными, но ребяческими иллюзіями, не имѣвшими никакихъ научныхъ основаній». И онъ сожалѣлъ «неуравновѣшенныхъ людей», оставшихся на всю жизнь «младенцами», и, почиывая въ часы досуга разныя серьезныя книги, старался находить въ нихъ подтвержденіе своего скептицизма.

Но еслибъ и тогда ему сказали, что онъ, прежній поклонникъ Маркса, авторъ горячихъ статей противъ капитализма, станетъ самъ банкократомъ и дѣльцомъ, мечтающимъ о банковыхъ операціяхъ, и будетъ водить дружбу съ Ковригиными, — Черенинъ первый разсмѣялся бы, до того подобная будущность казалась ему невѣроятной, оскорбляющей его нравственное чувство.

Все это какъ-то исчезло изъ памяти. Прежнія «заблужденія» не портили счастливаго дня своимъ напоминаніемъ.

Но судьбѣ, какъ нарочно, угодно было напомнить прошлое, напомнить совершенно неожиданно и именно въ этотъ вечеръ, когда Дмитрій Александровичъ, ничѣмъ не смущаемый, переживалъ первыя радости своего новаго положенія.

Черенинъ уже видѣлъ себя и семью на вершинѣ благополучія, какъ въ кабинетъ вошла Паша съ докладомъ, что какой-то господинъ желаетъ видѣть Дмитрія Александровича.

— Кто такой?

— Извините, запамятовала фамилію! — отвѣчала, краснѣя, Паша.

— Бывалъ у насъ?

— Нѣтъ, кажется...

— Просите сюда! — приказалъ Черенинъ и въ то же время подумалъ, что нужно нанять

лакея, а то Паша довольно-таки безтолкова: или забываетъ, или перевираетъ фамиліи.

## IV.

При видѣ этого приземистаго, сухошаваго господина пожилыхъ лѣтъ, съ большой рыжей бородой, начинавшей сѣдѣть, одѣтаго въ черную пару, видимо сшитую неважнымъ портнымъ, — Черенинъ въ первое мгновеніе подумалъ, что передъ нимъ искатель мѣста, провѣдавшій уже о новомъ его назначеніи, и глядѣлъ на него, не двигаясь къ нему на-встрѣчу, вопросительно-серьезнымъ взглядомъ, какимъ обыкновенно глядятъ на незнакомыхъ людей.

Но господинъ съ рыжей бородой, нисколько не смущенный этимъ взглядомъ, подошелъ къ Черенину, и весело улыбаясь, протянулъ руку.

— Не узнаете, Дмитрій Александрычъ? — проговорилъ онъ, все съ тою же улыбкой. — Видно очень-таки постарѣлъ, а?..

То, что казалось давно уплывшимъ, забытымъ и словно чужимъ, — цѣлая полоса жизни: молодость съ ея горячей вѣрой въ свои силы и смѣлыми рѣшеніями труднѣйшихъ вопросовъ жизни; шумные споры въ маленькой мебелирован-

ной комнатѣ, на Васильевскомъ островѣ, у этой добрейшей квартирной хозяйки, старушки Матрены Васильевны, всегда широко открывавшей кредитъ студентамъ и молодымъ людямъ безъ опредѣленныхъ занятій; жидкій чай съ ситникомъ и дешевая колбаса; табачный дымъ, возбужденныя лица пріятелей, собравшихся вмѣстѣ прочесть хорошую книжку или статью интереснаго писателя; толки о народѣ и обѣщанія послужить ему,—все это пронеслось въ памяти Черенина съ быстротой молніи, въ тѣ мгновенья, когда онъ всматривался въ худощавое, некрасивое, но привлекательное лицо господина съ рыжей бородой...

И этотъ высокій открытый лобъ, и длинный носъ, и непокорные вихры волнистыхъ волосъ, и особенно эти лучистые голубые глаза, большіе и добрые, точно глядѣвшіе изнутри, изъ самой души яснымъ правдивымъ взоромъ, — теперь казались Черенину хорошо знакомыми; но онъ все-таки не могъ припомнить и назвать фамилію того, кто такъ горячо пожималъ его руку, и сконфуженно недоумѣвалъ, стараясь припомнить.

— Чернопольскій! Иванъ Чернопольскій!.. Вспомнили теперь стараго пріятеля?—произнесъ гость съ веселымъ смѣхомъ и, потянувшись первымъ, тоекратно облобызался съ Дмитріемъ Александровичемъ.



Иванъ Чернопольскій!?

Это имя тотчасъ-же напомнило Черенину бывшего товарища и пріятеля, этого рѣдкаго добряка, всегда за кого-нибудь хлопотавшаго, всегда готоваго уступить свой урокъ болѣе нуждавшемуся, хотя болѣе нуждаться, чѣмъ всегда нуждался бѣдный, какъ Ирѣ, Чернопольскій, казалось, было трудно.

— Вотъ никакъ не ожидалъ встрѣтить! Откуда? Какими судьбами?—воскликнулъ Черенинъ, радостно пожимая снова руки Чернопольскаго.

Онъ искренно обрадовался и въ то-же время чувствовалъ какую-то неловкость при видѣ пріятеля, напомнившаго ему молодость.

— Но какъ же вы измѣнились! Я ни за что бы васъ не узналъ.

— Еще бы! Цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ не видались... Воды-то утекло много!

— Да... много!—задумчиво повторилъ Черенинъ.

— А вы такъ мало постарѣли. Такой-же молодецъ... Вотъ только брюшко какъ будто собираетесь завести! — прибавилъ, добродушно улыбаясь, Чернопольскій.

Они усѣлись и первую минуту молча оглядывали другъ-друга, словно бы каждый вспоминалъ въ другомъ прошедшее и пытался угадать, что съ каждымъ изъ нихъ сдѣлала жизнь въ настоящемъ.

— Ну, рассказывайте, какъ вы живете, что дѣлаете, Дмитрій Александровичъ? Вѣдь я въ своей глуши ничего о васъ не знаю... Слышалъ давно еще, что вы женились...

— Какъ же, женатъ, двое дѣтей... Тяну хомуть, какъ и всѣ... Служу...

— Служите?

— Да, въ частномъ банкѣ! — отвѣчалъ Черенинъ и почему-то умолчалъ о своемъ новомъ назначеніи.

— А литература? Развѣ не пишете? Я и то удивлялся, что ужъ давно не встрѣчаю вашего имени въ журналахъ... У васъ такія славныя были статьи!—горячо прибавилъ Чернопольскій.

— Некогда... Да и не пишется...

— Вотъ это жаль... У васъ вѣдь и талантъ былъ и знанія были... Право жаль.

— Такихъ талантовъ и безъ меня много...

— А все - таки... Искреннее и убѣжденное слово всегда полезно, а по нынѣшнимъ временамъ и подавно... Люди какъ-то забывчивѣе за послѣднее время стали... и напоминать имъ объ идеалахъ—доброе дѣло!—прибавилъ горячо, застѣнчиво краснѣя, Чернопольскій.

«Такой-же «младенецъ», какъ и былъ!»—подумалъ Черенинъ и, видимо не расположенный продолжать разговоръ на эту тему, спросилъ:

— Ну, а вы какъ живете?.. Какой хомуть носите?..

— Прежде учительствовалъ, но принужденъ былъ оставить педагогію... Затѣмъ былъ бухгалтеромъ въ N — ской думѣ, а теперь, вотъ ужъ пять лѣтъ, какъ живу въ деревнѣ.

— Помѣщикомъ?

— Ну, куда помѣщикомъ!—усмѣхнулся Чернопольскій... — Такъ, знаете-ли, вродѣ фермера скорѣй... Послѣ смерти отца мнѣ досталось шесть тысячъ, я и бросилъ бухгалтерію—скука одна съ ней, такъ, изъ-за жалованья служилъ—и купилъ клочекъ земли. Самое любезное дѣло... И какъ-то на совѣсти покойно... Живемъ себѣ, очень скромно, конечно, но вѣдь я и не привыкъ къ роскоши... Жена у меня—врачъ: мужиковъ и бабъ лѣчитъ; ну, а я, нѣкоторымъ образомъ, вродѣ адвоката у крестьянъ. Кругомъ бѣдность, народъ темный... ну и рады, что человѣкъ совѣтъ даетъ... Мы съ мужиками ладимъ... Въ гласные меня выбрали... Трое дѣтей, ребята славные... Старшему ужъ девять лѣтъ... Сосѣди есть: порядочные люди... И духовную пищу вкушаемъ... Да, вотъ такъ и живемъ себѣ и судьбой довольны, поскольку можетъ быть доволенъ нашъ братъ, когда-то мечтавшій горы сдвинуть! — прибавилъ съ грустной усмѣшкой Чернопольскій.

И Черенинъ на минуту задумался.

— Надолго сюда?—спросилъ онъ.

— Недѣлки на двѣ, я думаю. Я вѣдь сюда по дѣлу.

— По дѣлу? Какое же у васъ дѣло, Иванъ Андреичъ?

— Не у меня, а у нашихъ сосѣдей-крестьянъ...

И Чернопольскій разсказалъ о процессѣ, который уже тянется нѣсколько лѣтъ у мужиковъ съ бывшимъ ихъ помѣщикомъ изъ-за земли. Дѣло теперь въ сенатѣ.

— Я и пріѣхалъ узнать о немъ и посоветоваться тутъ съ однимъ адвокатомъ...

— И вамъ заплатятъ за хлопоты?

— Что вы? Гдѣ имъ платить? — промолвилъ Чернопольскій и совсѣмъ сконфузился.. — Да и какъ съ бѣдноты-то брать!..

Онъ примолкъ и продолжалъ, словно бы оправдываясь:

— Зимой-то въ деревнѣ работы меньше. Я и прикатилъ сюда... Кстати и Петербургъ хотѣлось повидать и на старыхъ пріятелей поглядѣть.

Чернопольскій сталъ-было спрашивать о нихъ, но оказалось, что ни о комъ Черенинъ не могъ дать свѣдѣній.

— А Потресова выдаете?—спрашивалъ Чернопольскій... — Вотъ рѣдкій писатель, который сохранился...

— Нѣтъ, не выдаю!—отвѣчалъ Черенинъ.

Оба нѣсколько времени молчали. Оба почувствовали какую-то неловкость, какую испытываютъ долго не видавшіеся люди, которые разстались въ молодыхъ годахъ.

Чернопольскій пробовалъ-было спрашивать о петербургскихъ вѣяніяхъ, о литературныхъ новостяхъ, о молодежи, но Черенинъ на все это отвѣчалъ какъ-то скупо и неопредѣленно, при чемъ въ словахъ его звучала скептическая нотка; его, повидимому, такъ мало интересовали вопросы, казавшіеся его гостю важными, что Чернопольскій подъ-конецъ весь будто съежился, молчалъ и конфузился.

Послѣ получасового визита онъ сталъ прощаться.

— Куда-же вы? Сейчасъ пріѣдетъ жена. Будемъ чай пить!—вдругъ воскликнулъ Черенинъ съ необыкновенной ласковостью. — Я вѣдь очень радъ васъ видѣть. Вы мнѣ напомнили молодость!—прибавилъ онъ.

Но Чернопольскій не могъ остаться. Сегодня въ девять часовъ у него назначено свиданіе съ адвокатомъ.

— Вы все тотъ-же... вѣчно хлопчете за другихъ, какъ, помните, въ старину, когда мы васъ звали общимъ дядей...

— Ну, что вы, что вы?.. А хорошее время-то было... Не правда-ли?

Но Черенинъ промолчалъ и, горячо пожимая

гостю руку, звалъ непременно Чернопольскаго обѣдать: завтра, послѣ завтра, когда онъ хочетъ, въ шесть часовъ.

— Смотрите, приходите... Во всякомъ случаѣ приходите... Я радъ васъ видѣть! Очень, очень радъ!—говорилъ возбужденно Черенинъ въ передней.

## V.

«Милѣйшій... младенецъ!»—думалъ Черенинъ, возвращаясь въ кабинетъ. И онъ сталъ вспоминать о немъ, вспоминалъ о себѣ и невольно сравнивалъ прежняго Черенина съ нынѣшнимъ.

Эти воспоминанія нѣсколько омрачили его благополучіе. Что-то грустное подымалось откуда-то, со дна души, и говорило о бывшихъ мечтахъ, о прежнихъ идеалахъ. Гдѣ они?

Да, онъ измѣнился. Этотъ «младенецъ въ сорокъ лѣтъ» напомнилъ ему прошлое и словно бы обезоруживалъ его скептицизмъ, прикрывающій индифферентныхъ людей. Ну, такъ что-же? Онъ иначе теперь глядитъ на вещи и поступаетъ по убѣжденію. Не дѣлаетъ же онъ ничего безчестнаго, что беретъ хорошее мѣсто и собирается заработать себѣ состояніе. Тысячи

людей поступили бы точно такъ-же, и совѣсть ихъ такъ-же была бы спокойна, какъ спокойна и его.

Такъ здраво рассуждалъ Черенинъ и все-таки чувствовалъ какую-то неловкость, нѣчто въ родѣ стыда передъ прежнимъ Черенинымъ и, сознавая, что прежняго Черенина никогда не будетъ, словно-бы сожалѣлъ о немъ...

Онъ пробовалъ-было думать о счастливомъ настоящемъ, но снова молодость проносилась передъ нимъ. И раздумье охватило Черенина, отравляя счастливый день...

---





СЕРЖЪ ПТИЧКИНЪ.



# Сержъ Птичкинъ.

---

## I.

Когда, лѣтъ десять тому назадъ, этотъ чистенькій, благообразный и румяный юноша съ подстриженными бѣлокурыми волосами и большими, ясными голубыми глазами пріѣхалъ въ Петербургъ для поступленія въ университетъ, на юридическій факультетъ, со ста рублями въ карманѣ, скопленными уроками,—онъ не особенно торопился навѣстить свою родную сестру, немолодую уже дѣвушку, жившую въ гувернанткахъ. Но за то онъ предусмотрительно скоро розыскалъ весьма отдаленную родственницу, богатую вдову генеральшу Батищеву, извѣстную спиритку и благотворительную даму, имѣвшую свой пріютъ для призрѣнія шести младенцевъ, и въ первое-же воскресенье, надѣвъ свой новенькій сюртучекъ и причесавшись у парикмахера, отправился съ визитомъ къ гене-

ральшѣ, въ ея собственный домъ, на Сергіевской улицѣ.

— Какъ прикажете доложить?—спросилъ молодого человѣка лакей во фракѣ, съ такимъ представительнымъ видомъ и съ такими великолѣпными бакенбардами, что и этой представительности и этимъ бакенбардамъ могъ позавидовать любой директоръ департамента.

— Птичкинъ! — громко, съ вызывающимъ, горделивымъ видомъ отвѣтилъ молодой человѣкъ, но при этомъ почему-то вспыхнулъ.

Старуха Батищева приняла съ неба сваливагося родственника, о степени родства котораго имѣла крайне смутныя представленія, — съ той вѣжливо-строгой холодностью, съ какой обыкновенно принимаютъ бѣдныхъ дальнихъ родственниковъ, которыхъ подозрѣваютъ въ недобромъ намѣреніи — обратиться съ какой-нибудь просьбой.

Молодой человѣкъ, однако, не смутился.

Онъ стоически перенесъ непріятность первыхъ минутъ встрѣчи и, какъ будто не замѣчая этого застланнаго, серьезнаго взгляда старой дамы въ кружевной наколкѣ, съ сѣдыми буклями, обрамлявшими маленькое сморщенное личико съ вздернутымъ носикомъ и выцвѣтшими глазками, — не спѣша объяснилъ, что, пріѣхавши въ Петербургъ, онъ счелъ своимъ священнымъ долгомъ явиться къ Аннѣ Михайловнѣ, какъ родствен-

ницѣ и когда-то знакомой его покойной матери, съ единственной цѣлью засвидѣтельствовать свое глубочайшее почтеніе и постараться заслужить ея родственное расположеніе.

Онъ проговорилъ эту маленькую привѣтственную рѣчь почтительно, но безъ заискиванія, и при этомъ глядѣлъ на старуху своими ясными голубыми глазами такъ скромно и въ то же время увѣренно, что Батищева тотчасъ же измѣнила тонъ и сдѣлалась проще. Въ ея лицѣ и въ глазахъ появилось обычное ласковое выраженіе, и она уже съ родственной привѣтливостью протянула свою маленькую костлявую ручку, которую молодой человѣкъ, конечно, почтительно поцѣловалъ,—и стала спрашивать о покойныхъ родителяхъ молодого человѣка, припоминая, что она въ молодости дѣйствительно была дружна съ его маман, которая доводилась ей, кажется, троюродной сестрой.

Молодой человѣкъ, являющійся лишь для засвидѣтельствованія глубочайшаго почтенія, во всякомъ случаѣ пріятная неожиданность, и старая генеральша видимо была этимъ тронута, тѣмъ болѣе, что и манеры, и костюмъ, и тихая, пріятная рѣчь—все обличало благовоспитаннаго, скромнаго юношу въ этомъ неожиданно объявившемся родственникѣ.

Въ теченіе получасового визита молодой человѣкъ такъ очаровалъ старушку, что она въ

тотъ же день позвала его обѣдать. Особенно ей понравилось вниманіе, съ какимъ слушалъ Птичкинъ ея болтовню. Словоохотливая старуха, видимо не особенно избалованная терпѣливыми слушателями, рассказала ему про нѣсколько «спиритическихъ» явленій съ подробностями, отступленіями и повтореніями, столь обычными у болтливыхъ стариковъ и старушекъ, и молодой человѣкъ, казалось, былъ весь — вниманіе, точно спиритическіе рассказы генеральши были для него самой интересной вещью на свѣтѣ. Онъ во-время подавалъ реплики, во-время серьезно покачивалъ своей гладко-прилизанной головой, во-время улыбался, словомъ слушалъ такъ хорошо, что Батищева нашла, что молодой человекъ — умница.

Обѣдъ лишь довершилъ очарованіе.

Птичкинъ ѣлъ рыбу не съ ножа, а вилкой, держалъ себя съ тактомъ, недурно говорилъ по французски и, при удобномъ случаѣ, скромно, но не безъ твердости, высказалъ взгляды, отличавшіеся такимъ рѣдкимъ въ юношѣ благоразуміемъ и столь трезвенной ясностью, что старушка пришла въ восторгъ, въ тотъ же вечеръ по родственному назвала Птичкина «Сержемъ» и разъ навсегда пригласила его приходить къ нимъ обѣдать каждый день.

— А то въ ресторанахъ вы, мой милый, только катарръ наживете! — любезно прибавила старуха,

совѣтъ очарованная своимъ «проблематическимъ» племянникомъ и въ то же время разчитывавшая съ старческимъ эгоизмомъ имѣть въ молодомъ человѣкѣ жертву ея послѣобѣденной болтовни.

И на остальныхъ членовъ семьи — двухъ барышень и молодого офицера Батищева — нашъ юноша произвелъ хорошее впечатлѣніе. Они нашли, что онъ милый, неглупый малый и вообще «comme il faut».

«И не дурень собой!» прибавили обѣ барышни.

— Фамилія только его... Птичкинъ! Птичкинъ! повторялъ со смѣхомъ Батищевъ. Отзывается mauvais genre'омъ!

— Но это во всякомъ случаѣ дворянская фамилія! Онъ дворянинъ, — замѣтили барышни, хотя тоже согласились, что фамилія, дѣйствительно неблагозвучная.

Особенно участливо отнеслась къ этому «одинокому сиротѣ», принужденному съ юныхъ лѣтъ заботиться о своемъ существованіи, старшая сестра Эленъ.

Это была дѣвушка тѣхъ зрѣлыхъ лѣтъ (между тридцатью и сорока), когда всякая надежда на замужество по любви уже потеряна и когда обезпеченныя и не особенно озлобленныя дѣвицы этого «переходнаго» возраста чувствуютъ склонность къ благотворительности или къ спи-

ритизму, восторгаются Мазини, Фигнеромъ или Гитри, рисуютъ на фарфорѣ или дѣлаютъ искусственные цвѣты, зачитываются романами Поля Бурже и Золя, любятъ «теоретическіе» разговоры о чувствахъ и скептически относятся къ мужской привязанности, хотя и волнуютъ свое воображеніе небывалыми романами съ небывалыми героями и питаютъ особенное пристрастіе, полное участливой материнской заботливости, къ свѣжимъ, румянымъ и приличнымъ юнцамъ.

Высокая, стройная брюнетка съ блѣдно-желтымъ лицомъ, сохранившимъ еще слѣды увядающей красоты, съ впалой грудью, съ темными добрыми, немного грустными глазами и красивыми руками, съ длинными, тонкими пальцами, съ изумрудомъ на крошечномъ мизинцѣ, — эта Эленъ съ перваго же дня прониклась жалостью къ скромному бѣдному родственнику и, узнавши, что онъ рассчитываетъ найти уроки, на другой же день отправилась къ знакомымъ и просила ихъ рекомендовать въ свою очередь вполне приличнаго молодого человѣка, нуждающагося въ урокахъ.

И черезъ недѣлю или двѣ нашъ молодой человѣкъ уже имѣлъ два хорошіе урока, обезпечивающіе вполне его существованіе, и благодарилъ Эленъ съ такимъ горячимъ чувствомъ, что скромная, добрая дѣвушка сконфузилась и ласково глядя на Сержа, проговорила:



— Полно... полно... Стоитъ ли изъ-за такихъ пустяковъ благодарить.

Но Сержъ все-таки продолжалъ благодарить и нѣсколько разъ, въ знакъ благодарности, принимался горячо цѣловать красивую руку своей «кузины», взглядывая на за покраснѣвшуюся Эленъ своими ясными голубыми глазами, съ видомъ наивнаго ребенка, переполненнаго чувствами.

## II.

Будущность, казалось, улыбалась молодому человѣку, явившемуся въ Петербургъ безъ денегъ, безъ связей, съ однѣми мечтами добиться въ послѣдствіи и связей, и положенія, и денегъ.

Первые шаги его были удачны. Онъ отыскалъ вполнѣ приличныхъ родственниковъ, которые могли быть очень полезны и у которыхъ можно было имѣть даровой обѣдъ; благодаря этой сантиментальной старой дѣвѣ Эленъ, онъ скоро получилъ уроки, словомъ все начиналось очень хорошо.

Думая объ этомъ, молодой человѣкъ весело улыбался, и его постоянныя мечты стать современемъ вполнѣ порядочнымъ человѣкомъ, то-

есть сдѣлать блестящую карьеру и быть богатымъ, окрылялись отъ перваго успѣха.

Одно только смущало его, являясь источникомъ его тайныхъ терзаній, это... его фамилія, неблагозвучная, какая-то мѣщанская фамилія, которая еще съ отроческихъ лѣтъ отравляла спокойствіе обыкновенно хладнокровнаго, разсудительнаго мальчика...

Бывало, когда кто-нибудь спрашивалъ этого скромнаго гимназистика, какъ его фамилія, — онъ при отвѣтѣ всегда краснѣлъ отъ стыда. И хотя покойный отецъ его, почтенный человекъ, бывшій учителемъ русской словесности въ гимназіи, нерѣдко внушалъ мальчику, что называться Птичкинымъ не стыдно, а быть мерзавцемъ стыдно, — эти поученія и однажды даже строгое наказаніе за то, что мальчикъ презрительно назвалъ одного товарища «паршивымъ мужикомъ», не излѣчили юнаго Птичкина. И старый учитель, идеалистъ шестидесятыхъ годовъ, съ тоскливымъ изумленіемъ и ужасомъ спрашивалъ себя: «Откуда это у сына такія аристократическія вожделѣнія и такія эгоистическія наклонности? Что это — атавизмъ или знаменіе новыхъ временъ?»

Онъ умеръ, не дождавшись полнаго разцвѣта своего юнаго отпрыска, увѣренный, однако, что этотъ разсудительный, спокойный и практическій мальчикъ, съ красивыми голубыми

глазами, не пропадетъ въ битвѣ жизни, какъ пропалъ другой, старшій сынъ, увлекающійся, порывистый юноша, горячо любимый отцомъ.

Когда прежнія неопредѣленные мечтанія отрока стали принимать болѣе реальную форму, молодого человѣка еще болѣе стала раздражать его фамилія.

И онъ нерѣдко думалъ:

«Нужно же было отцу называться Птичкинымъ! И какъ это мать, дѣвушка изъ старой дворянской семьи, рѣшилась выйти замужъ за человѣка, носящаго фамилію Птичкина? Это чортъ знаетъ что за фамилія! Ну хотя-бы Коршуновъ, Ястребовъ, Сорокинъ, Вороновъ, Воробьевъ... даже Птицынъ, а то вдругъ... Птичкинъ!» И когда онъ мечталъ о будущей славной каррьерѣ, мечты эти отравлялись воспоминаніемъ, что онъ... господинъ Птичкинъ.

Даже еслибы онъ оказалъ отечеству какія-нибудь необыкновенныя услуги... въ родѣ Бисмарка... его вѣдь все-таки никогда не сдѣлаютъ графомъ или княземъ.

«Князь Птичкинъ»... Это невозможно! со злобой на свою фамилію повторялъ молодой человѣкъ.

Правда, онъ любилъ при случаѣ, объяснять (что онъ и сдѣлалъ скоро у Батищевыхъ), что родъ Птичкиныхъ — очень старый дворянскій родъ, и что одинъ изъ предковъ,

шведскій рыцарь Магнусъ, прозванный за необыкновенную ѣзду на конѣ «Птичкой», еще въ началѣ XV столѣтія выселился изъ Швеціи въ Россію и, женившись на татарской княжнѣ Зюлейкѣ, положилъ основаніе фамиліи Птичкиныхъ. Но всѣ эти геральдическія объясненія, сочиненныя вдобавокъ еще въ пятомъ классѣ гимназіи, когда проходили русскую исторію, мало утѣшали благороднаго потомка шведскаго рыцаря Птички.

### III.

Университетская пора пронеслась быстро и весело для Птичкина.

Способный и неглупый, онъ занимался хорошо и отлично зналъ то, что требовалось для экзаменовъ. Дальше этого онъ не шелъ и не находилъ нужнымъ. Вообще отвлеченныя мысли какъ-то не занимали его практическій умъ и слишкомъ себялюбивую натуру, и онъ съ глубочайшимъ презрѣніемъ относился къ людямъ, которые пускались въ отвлеченія. И отецъ его изъ-за этого весь свой вѣкъ прожилъ несчастнымъ учителемъ и умеръ бѣднякомъ, и старшій его братъ гдѣ-то скитается по захолустьямъ.

Брата онъ рѣшительно презиралъ, какъ дурака, не умѣющаго понимать, казалось, самыхъ простыхъ вещей, и всегда боялся, что «этотъ болванъ» можетъ его скомпрометировать. И когда, однажды, Сержъ Птичкинъ, уже студентомъ третьяго курса, получилъ отъ старшаго брата письмо, то онъ, не задумавшись, отвѣтилъ ему такимъ посланіемъ:

«Я полагаю, братъ, ты согласишься со мной, что родственныя связи, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, ровно ничего не значатъ. Мы съ тобой стоимъ совершенно на разныхъ точкахъ зрѣнія. То, что ты считаешь хорошимъ, я считаю мерзкимъ, то, что ты считаешь благомъ, я считаю несчастіемъ. Короче говоря между нами рѣшительно ничего нѣтъ общаго, и не смотря на то, что случай сдѣлалъ насъ братьями, я не нахожу нужнымъ скрывать полного отвращенія и къ твоимъ идеямъ, и къ твоей жизни. Поэтому было-бы, полагаю, удобнѣе прекратить всякія отношенія».

Черезъ нѣсколько времени Сержъ Птичкинъ получилъ отъ брата слѣдующій отвѣтъ:

«Извини, братъ. Я рѣшительно не думалъ, что ты такая современная скотина въ столь молодые годы. Поздравляю».

Младшій братъ прочиталъ эти строки совершенно спокойно. Ни одинъ мускуль его красиваго, румянаго, нѣсколько женственнаго лица

не дрогнулъ. И только въ глазахъ сверкнуло презрѣніе.

Онъ медленно разорвалъ письмо и произнесъ:

— Идіотъ!

Отъ товарищей Птичкинъ держался въ сторонѣ. Водилъ онъ знакомство лишь съ избранными студентами, такими же ранними молодыми людьми, какъ и онъ, да съ нѣсколькими приличными шелопаями.

Въ этомъ кружкѣ онъ былъ божкомъ. Онъ нерѣдко проповѣдывалъ, слушая самъ себя, свою собственную теорію государственнаго права и рисовался крайнимъ консерватизмомъ. Это отвѣчало его аристократическимъ вожделѣніямъ и не мѣшало будущей каррьерѣ. Напротивъ!

Говорилъ онъ недурно: тихимъ, спокойнымъ голосомъ, съ апломбомъ человѣка, увѣреннаго въ своемъ превосходствѣ, и любилъ напускать на себя строгую солидность особенно, когда толковалъ о задачахъ трезваго молодого поколѣнія. Выходило недурно.

У Батищевыхъ молодымъ человѣкомъ всѣ восхищались, кромѣ младшей сестры Ниты, хорошенькой, неглупой барышни, не особенно довѣрившей молодому человѣку. Птичкинъ пробовалъ очаровать эту изящную молоденькую кузину съ насмѣшливыми глазами, но это ему никакъ не удавалось. Онъ чувствовалъ подъ

часть ея тонкую иронию, и ему съ ней было какъ-то не по себѣ.

За то Эленъ восторгалась своимъ любимцемъ. Хотя его крайніе взгляды и казались ей ужь слишкомъ непреклонными и возмущали ея доброе сердце, но она считала, что этотъ пылъ со временемъ пройдетъ, и все прощала «бѣдному сиротѣ». И онъ за то оказывалъ ей, особенно вначалѣ, почтительно нѣжное вниманіе, увѣрялъ въ своемъ расположеніи и часто и горячо цѣловалъ ея маленькую бѣлую руку, думая въ то же время, что эта старая дѣва можетъ еще пригодиться, и что рука у нея все-таки аппетитная.

#### IV.

И Эленъ все болѣе и болѣе привязывалась къ «милому юношѣ», какъ она его называла.

Это чувство было довольно сложное. Въ немъ соединялось нѣсколько восторженная влюбленность старой дѣвы съ чистой привязанностью доброй души къ бѣдному молодому человѣку, пробивавшему себѣ жизненный путь безъ посторонней помощи, и съ поклоненіемъ передъ умомъ, энергіей и другими достоинствами, которыми обильно надѣляла молодого человѣка

дѣвушка, не привыкшая хорошо всматриваться въ людей. Она, разумѣется, тщательно скрывала свои чувства подѣ видомъ обыкновеннаго дружескаго расположенія, но въ тайнѣ радовалась всякимъ успѣхамъ Птичкина и была увѣрена, что изъ него современемъ выйдетъ замѣчательный человѣкъ. Ее трогало его вниманіе, его благодарность за ея пустыя услуги, и она, какъ порядочный человѣкъ, искренно вѣрила въ его расположеніе... вѣрила и считала своего протеже безусловно честнымъ молодымъ человѣкомъ.

Ей точно чего-то недоставало, когда онъ нѣсколько дней не приходилъ. Она любила говорить съ нимъ и съ участіемъ доброй сестры относилась ко всѣмъ его нуждамъ. Однажды даже она, вся краснѣя, со слезами на глазахъ, предложила ему взять займы денегъ, но Птичкинъ такъ холодно и рѣзко отказался, видимо обиженный этимъ предложеніемъ, что Эленъ должна была извиняться и увѣрять Сержа, что въ ея предложеніи не было и мысли сдѣлать обиду.

На спиритическихъ сеансахъ, бывавшихъ поочередно у каждаго изъ членовъ небольшого «спиритическаго кружка», какъ-то случалось что Эленъ и Птичкинъ всегда сидѣли рядомъ. И эта близость, это прикосновеніе рукъ всегда наполняло Эленъ какимъ-то сладкимъ томленіемъ. И она еще болѣе вѣрила въ спиритиче-



ское сродство дуть. А Сержъ, какъ нарочно, иногда слегка надавливалъ ея крошечный мизинецъ своимъ пальцемъ, приводя бѣдную дѣвушку въ большее спиритическое воодушевленіе. Разумѣется, это не онъ давитъ. Онъ не посмѣлъ бы этого сдѣлать. Это дѣло духовъ.

Въ «спиритическомъ кружкѣ», кромѣ старухи Батищевой и Эленъ, участвовали еще три дамы и два почтенныхъ старика—все люди болѣе или менѣе состоятельные и со связями, и Птичкинъ, особенно первое время своего студенчества, охотно посѣщалъ сеансы и былъ, казалось, ревностнымъ спиритомъ. Съ самымъ серьезнымъ видомъ выслушивалъ онъ, когда одна изъ «спиритическихъ дурь», какъ мысленно онъ окрестилъ своихъ соучастницъ по опытамъ, начинала рассказывать о своей бесѣдѣ съ какимъ-нибудь изъ жильцовъ загробнаго міра или объяснять теорію переселенія душъ.

Но эти сеансы сослужили добрую службу. Благодаря имъ, завязывались полезныя знакомства и связи, и нашъ молодой человѣкъ во все время своего студенчества имѣлъ много уроковъ и такихъ хорошихъ, что могъ не только прилично жить, но и скопить небольшую сумму, чтобы по выходѣ изъ университета одѣться, какъ приличествуетъ благородному потомку рыцаря Птички.

Его охотно приглашали и года черезъ два

года по прїѣздѣ въ Петербургъ молодой студентъ имѣлъ возможность обѣдать въ разныхъ домахъ, не подвергаясь, такимъ образомъ, опасности ежедневно слушать утомительные по-слѣобѣденные рассказы—нерѣдко въ пятомъ изданіи—старухи Батищевой, въ обществѣ одной Эленъ, такъ какъ хорошенькая Нита и братъ ея обыкновенно исчезали изъ комнаты, какъ только старуха открывала ротъ, ибо знали всѣ эти рассказы съ тѣхъ поръ, какъ помнили себя.

Онъ нравился вообще дамамъ, этотъ свѣжій, румяный, бѣлокурый студентъ, съ ясными, голубыми глазами, маленькой шелковистой бородкой, съ отличными манерами и съ такимъ непреклоннымъ образомъ мыслей. Подъ его наружнымъ спокойствіемъ чувствовался огонекъ. Его звали на балы и вечера, и имъ любовались, — такъ онъ мило танцевалъ.

И въ томъ обществѣ, гдѣ онъ вращался, почти всѣ находили, что «monsieur Serge» — рѣдкій молодой человѣкъ, и иногда жалѣли, что у него такая «малоговорящая» фамилія. Нашъ молодой человѣкъ зналъ, что онъ производитъ впечатлѣніе на дамъ, особенно «бальзаковскихъ» лѣтъ и любящихъ пылкость чувствъ. Это льстило его самолюбію. Онъ втайнѣ гордился своими побѣдами, но, казалось, не замѣчалъ ихъ, не позволялъ себѣ ни за кѣмъ ухажи-

вать и напускалъ на себя серьезную солидность слишкомъ занятаго и скромнаго человѣка, котораго не занимаетъ ухаживанье. Онъ хорошо разыгрывалъ роль Юсифа Прекраснаго и не забывалъ, что онъ—Птичкинъ, чтобы серьезно ухаживать за свѣтской барышней, пока не оперится. Влюбленный лишь въ самого себя, сухой и самолюбивый, онъ и не увлекался никѣмъ, мечтая впослѣдствіи жениться на дѣвушкѣ съ основательнымъ приданымъ. Плодить бѣдныхъ онъ не хотѣлъ и съ цинизмомъ подсмѣивался надъ дураками, которые «женятся, не подумавши».

А пока нашъ молодой человѣкъ пользовался расположеніемъ своей квартирной хозяйки, молодой, смазливой жены мелкаго стараго чиновника. Эта связь была, по крайней мѣрѣ, удобна. Она гарантировала его здоровье и ни къ чему не обязывала. Такъ предусмотрительно обсудилъ Птичкинъ этотъ вопросъ, замѣтивъ, что пышная брюнетка къ нему равнодушна. И онъ третировалъ ее, относясь къ ней съ высокимъ снисхожденіемъ высшаго существа, и дарилъ ей маленькіе подарки, которыми оплачивалъ свои чувственныя удовольствія. Полюбившая его чиновница вздумала-было отказываться отъ этихъ подарковъ, но молодой человѣкъ прикрикнулъ на нее, и она покорно согласилась, не смѣя ему противорѣчить.

## V.

Когда въ отлично сшитомъ фракѣ Сержъ Птичкинъ, уже заручившійся, благодаря хлопотамъ Батищевой, недурнымъ мѣстомъ, въ провинціи явился на Сергіевскую съ первымъ визитомъ по окончаніи курса, онъ засталъ въ гостинной одну Ниту. Старушки и Эленъ не было дома. Онѣ уѣхали въ свой пріютъ.

Фракъ очень шелъ къ Птичкину, и вообще этотъ двадцатипятилѣтній молодой человѣкъ глядѣлъ совершеннѣйшимъ джентльменомъ того особеннаго «стиля», которымъ щеголяютъ молодые чиновники вѣдомства иностранныхъ дѣлъ и вообще свѣтская золотая молодежь. И еслибы не знать, что это Сержъ Птичкинъ, миѳическій потомокъ рыцаря Птички, его по виду можно было бы принять хоть за маркиза,—такъ онъ былъ великолѣпенъ.

Ужъ онъ умѣлъ ходить съ небрежнымъ развалыцемъ, щурить глаза, растягивать слова, не узнавать на улицѣ плохо одѣтыхъ знакомыхъ, зѣвать, съ видомъ скуки, въ театрѣ и смотрѣть собесѣднику, если онъ простой смертный, не въ глаза, а пониже или повыше: не то въ подбородокъ, не то въ макушку... Однимъ словомъ, Сержъ Птичкинъ уже принялъ обликъ «горо-

ховаго шута», — обликъ, считаемый за настоящій «sachet» порядочнаго тона.

— Да вы великолѣпны! Просто-таки великолѣпны въ своемъ фракѣ, Сергѣй Николаичъ! — воскликнула Нита при видѣ Птичкина на порогѣ гостиной.

И ироническая улыбка мелькнула въ ея сѣрыхъ глазахъ и скользнула по алымъ тонкимъ губамъ.

И тотчасъ же прибавила:

— Поздравляю васъ и...

Она на секунду остановилась и глядѣла на великолѣпнаго молодого человѣка съ веселой, чуть-чуть насмѣшливой улыбкой, эта блондинка съ гладко зачесанными назадъ пепельными волосами, бойкая и живая, съ выразительнымъ лицомъ, хорошенькимъ и необыкновенно привлекательнымъ со своимъ задорно приподнятымъ носикомъ. Въ ея чуть-чуть вздернутой кверху головкѣ было что-то надменное и капризное. Въ живыхъ, смѣющихся глазахъ точно игралъ бѣсенокъ, и выраженіе въ нихъ быстро мѣнялось. Она была средняго роста и хорошо сложена. Сѣрое шерстяное платье обливало ея изящную, полную граціи, фигурку.

— И что же дальше? По обыкновенію, какая-нибудь колкость, Анна Александровна? Что-жъ, говорите... Я къ этому привыкъ! — проговорилъ на ходу Птичкинъ, умышленно веселымъ тономъ, стараясь скрыть досаду на эту

насмѣшливую барышню, не раздѣлявшую къ нему общаго поклоненія.

И, приблизившись къ дѣвушкѣ, онъ почтительно поднесъ къ губамъ ея крошечную, точно выточенную, розовую ручку.

— Онѣ, я думаю, не особенно чувствительны, мои колкости... для такого умнаго человѣка! Не правда-ли? — лукаво прибавила Нита... Я просто не рѣшаюсь вамъ ничего желать.

— Это почему?

— Да потому, что и безъ моихъ желаній... успѣхи не заставятъ васъ ждать...

— Остается поблагодарить за такое лестное мнѣніе обо мнѣ! — промолвилъ молодой человѣкъ, наклоняя голову...

— Да вѣдь вы и сами увѣрены въ этомъ? Вы вѣдь вообще влюблены въ себя!

— Вы думаете? — промолвилъ, краснѣя, молодой человѣкъ.

— Думаю...

— Напрасно такъ думаете...

— Ну ужъ что дѣлать...

— А мнѣ это обидно...

Молодая дѣвушка усмѣхнулась.

— И этому не вѣрите?

— Досадно, это я еще пойму, но чтобы обидно...

Эта «дѣвченка», какъ про себя ее звалъ Птичкинъ, положительно его раздражала сво-

имъ ироническимъ тономъ и разными неприятными откровенностями, а между тѣмъ она ему нравилась, настолько нравилась, что онъ порой мечталъ, что жениться на ней было-бы очень недурно. Она невѣста богатая—сто тысячъ приданого. Но она видимо ему не довѣряла и не оказывала ему особеннаго расположенія, и это раздражало его самолюбіе. То ли дѣло Элень... Та охотно пошла-бы за него замужъ, но ей тридцать-три, а ему двадцать пять... Ужъ слишкомъ она зрѣла, эта отцвѣтшая красавица! — думалъ Птичкинъ.

Онъ принялъ строго-оскорбленный видъ и мягко, мягко заговорилъ о томъ, что Нита глубоко заблуждается и совсѣмъ не понимаетъ его. Онъ вовсе не такъ дурень, какъ она его считаетъ, и ему обидно, что именно она такъ относится къ нему.

— Мнѣ всегда было искренно жаль, что я не заслужилъ вашего расположенія, Анна Александровна... а я всегда былъ и буду глубоко вамъ преданъ...

Онъ проговорилъ эту фразу не безъ огонька, сдѣлалъ паузу и бросилъ взглядъ на дѣвушку. Она, казалось, слушала внимательно.

«Клюнуло!» подумалъ молодой человѣкъ и, понизивъ голосъ до нѣжнаго минора, продолжалъ:

— Теперь, когда, быть можетъ, намъ долго не придется увидѣться, я не скрою отъ васъ,

что меня всегда мучило ваше недовѣріе... Чѣмъ я его вызвалъ? За что оно? А между тѣмъ... я больше чѣмъ преданъ вамъ... я...

Въ эту минуту изъ залы донеслись голоса Батищевой и Эленъ.

Птичкинъ остановился.

— Что-жь вы, мосье Сержъ?.. Allez, allez toujours! съ громкимъ смѣхомъ проговорила Нита, и презрительная улыбка свѣтилась въ ея глазахъ.

Птичкинъ позеленѣлъ отъ злости.

— Здравствуйте, Сержъ! Поздравляю васъ!

И Батищева, и Эленъ радостно пожимали ему руку, высказали много самыхъ искреннихъ и добрыхъ пожеланій и находили, что онъ прелестенъ во фракѣ.

— А ты, Нита, отчего такъ хохотала? — спросила мать.

— Сергѣй Николаичъ разсмѣшилъ...

— Чѣмъ?

— Онъ великолѣпно прочиталъ комическій монологъ изъ... Тартюфа.

## VI.

Года черезъ четыре Сержъ Птичкинъ показался на петербургскомъ горизонтѣ въ качествѣ



виднаго товарища прокурора, уже успѣвшаго зарекомендовать себя. Карьера его обезпечена. Его считаютъ дѣльнымъ, солиднымъ юристомъ, но только черезъ-чуръ непреклоннымъ. Но это не смущаетъ Птичкина, такъ какъ онъ мнитъ себя носителемъ идеи самага чистаго консерватизма и аристократическихъ тенденцій. Онъ сталъ еще солиднѣе и принялъ видъ государственнаго человѣка. Онъ одѣвается съ изысканно - строгой простотой, «по англійски», и по праздникамъ посѣщаетъ аристократическія церкви, сдѣлавшись религіознымъ человѣкомъ настолько, настолько требуетъ хорошій тонъ послѣдняго времени. «Для увѣнчанія зданія» оставалось сдѣлаться богатымъ человѣкомъ. И это не заставило его ждать. Годъ тому назадъ онъ женился на хорошенькой купеческой дочкѣ съ милліономъ. Онъ снисходительно позволяетъ себя любить, считаетъ жену дурой и строго дрессируетъ ее. Въ годъ онъ выдрессировалъ жену на столько, что она уже тянетъ слова, щуритъ презрительно глаза и боится своего благовѣрнаго, какъ огня.

Самъ Сержъ Птичкинъ, получивъ милліонъ, еще болѣе влюбился въ собственную особу и сталъ говорить еще медленнѣе, точно произносить звуки ему въ тягость. Ходитъ онъ съ большимъ развальцемъ, словно бы ноги у него развинчены, зѣваетъ артистически, и совсѣмъ не

узнаетъ на улицѣ многихъ прежнихъ знакомыхъ и въ томъ числѣ Эленъ. У Батищевыхъ онъ бываетъ разъ два въ годъ. Чаще бывать ему некогда. Онъ такъ занятъ!

Недавно я имѣлъ счастье видѣть Сержа Птичкина у одного изъ его подчиненныхъ, котораго онъ осчастливилъ своимъ посѣщеніемъ. За картами онъ обратилъ вниманіе на какой-то портретъ, висящій на стѣнѣ и, немного гнусава, процѣдилъ:

— Что это? Фо-то-ти-пія или фо-то-гра-фія?

И вдругъ такъ зѣвнулъ, что смутившіеся хозяева поспѣшили объяснить, что это фотографія.

— А я по-ла-га-лъ фо-то-ти-пія! Не-дур-но. Очень не-дурно!

Вообще Сержъ Птичкинъ счастливъ. У него прелестная квартира, экипажи на резиновыхъ шинахъ, лошади превосходныя, влюбленная дура-жена, впереди очень видная карьера...

Одно только по-прежнему терзаетъ его, это—его фамилія.

— Птичкинъ... Птичкинъ! повторяетъ онъ иногда со злобой въ своемъ роскошномъ кабинетѣ. И надобно же было родиться съ такой глупой фамиліей!

„ИСТИННО-РУССКІЙ“  
ЧЕЛОВѢКЪ.



## „Истинно-русскій“ человекъ.

### I.

Я знавалъ Аркадія Николаевича Орѣшникова еще въ тѣ времена (въ концѣ шестидесятыхъ годовъ), когда онъ и не думалъ съ азартомъ бить кулакомъ по своей здоровой, выпяченной груди, называя себя истинно-русскимъ человекомъ,—не находилъ еще, что «наша матушка-Россія всему свѣту голова» и имѣетъ исторически-провиденціальную миссію ни чѣмъ не походить на изолгавшійся, развращенный «говорильнями», прогнившій Западъ,—не выражалъ желанія подтянуть «зазнавшуюся чухну» и навѣки-вѣчныя изгнать «низкаго жида» изъ предѣловъ имперіи,—просвѣщенія не отрицалъ и, съ чужихъ словъ не повторялъ о настоящей необходимости возстановить тѣлесныя

наказанія, для подъема нравственности и вообще добрыхъ началъ, замѣтно оскудѣвающихъ.

Въ тѣ отдаленныя времена, когда я познакомился съ Аркадіемъ Николаевичемъ, онъ, разумѣется, ни о чемъ подобномъ не могъ-бы и подумать, а не то что громогласно говорить да еще съ ноздревской развязностью, глядя вамъ прямо и нагло въ глаза и словно-бы думая про себя:

«Я и не то еще могу выпалить!»

Тогда столь-же откровенно повторялъ инныя рѣчи и перепѣвалъ инныя пѣсни этотъ «просто русскій» въ ту пору молодой человекъ, окончившій курсъ со степенью дѣйствительнаго студента, благополучно служившій помощникомъ столоначальника въ какомъ-то департаментѣ и пописывавшій по-временамъ рѣзвыя, либеральныя статейки въ газетахъ, отчасти для славы среди сослуживцевъ и среди знакомыхъ барышень, отчасти для покупки въ болѣе изобильномъ количествѣ перчатокъ и галстуховъ и для болѣе частаго посѣщенія оперетокъ и трактира Палкина.

## II.

Аркадій Орѣшниковъ въ то время былъ довольно видный, средняго роста, плотный, широкоплечій блондинъ съ маленькими, разбѣгающимися по сторонамъ, карими глазками, рѣдкими рыжеватыми волосами, крикливымъ теноркомъ и толстыми алыми губами, которыми онъ имѣлъ привычку, сохраненную и понынѣ, быстро поводить, выражая этимъ свое удовольствіе. Лицо у него было довольно ординарное и безъ особой «печати мысли» на начинавшемъ лысѣть челѣ: кругловатое, съ мясистыми щеками и толстымъ носомъ, но за то свѣжее, румяное и беззаботно веселое.

Самъ Орѣшниковъ, повидимому, былъ болѣе чѣмъ лестнаго мнѣнія на-счетъ своей фізіономіи, любилъ заниматься собой, не жалѣя о-деколону, считалъ себя плѣнительнымъ мужчиной и дѣйствительно пользовался успѣхомъ у горничныхъ и у швеекъ...

Хвастая своими любовными успѣхами и рассказывая объ интригѣ, героиней которой бывала какая-нибудь простодушная Даша или Матрѣша, Аркадій Орѣшниковъ значительно давалъ понять, что героиня романа—дама изъ общества,

безъ памяти въ него влюбленная, назвать которую онъ, какъ порядочный человекъ, разумѣется, не можетъ.

Онъ былъ неглупъ, но и не особенно уменъ, что называется, безъ царя въ головѣ, но достаточно переимчивъ и смѣтливъ въ житейскихъ дѣлахъ. Недостатокъ основательныхъ знаній онъ и въ молодости съ успѣхомъ замѣнялъ чисто славянской отвагой трактовать о какихъ вамъ угодно предметахъ, не моргнувши глазомъ. Впрочемъ, онъ и не очень обижался, когда его останавливали, замѣчая, что онъ несетъ окольную. Онъ только какъ-то меланхолически глядѣлъ куда-то въ пространство, но черезъ четверть часа уже снова готовъ былъ говорить съ прежнею развязностью и о коннозаводствѣ, и о философіи Канта.

Всегда поклонявшійся какому-нибудь доморощенному божку, при которомъ игралъ роль адъютанта, Орѣшниковъ такъ-же быстро развѣнчивалъ своего божка, находя новаго, какъ быстро и создавалъ себѣ идола, передъ которымъ обыкновенно раболѣпствовалъ.

Юркій, не безъ лукавства и въ то-же время легкомысленный поклонникъ всякаго успѣха, тщеславный и безхарактерный, никогда серьезно ни во что не вдумывавшійся и не имѣвшій правилъ, а одни лишь инстинкты, мягкій и добродушный, когда дѣло не касалось собственной



шкуры, прирожденный, такъ сказать, опортюнистъ, Орѣшниковъ былъ однимъ изъ тѣхъ людей, гибкихъ, податливыхъ и не имѣющихъ никакого опредѣленнаго идеала, — людей безъ рѣзко выраженной индивидуальности, которые повсюду составляютъ такъ-называемую «улицу».

### III.

Само собою разумѣется, что въ ту пору двадцатипятилѣтній Орѣшниковъ называлъ себя либераломъ. Правда, онъ и тогда не одобрялъ крайностей, тѣмъ болѣе, что за нихъ можно было имѣть непріятности по службѣ, и повторялъ вслѣдъ за другими, что наше время—не время широкихъ задачъ. Хотя онъ и не отдавалъ себѣ отчета, почему это такъ, но чувствовалъ, что такъ надо говорить, и говорилъ.

Тѣмъ не менѣе онъ горячо порицалъ нѣкоторыя явленія русской жизни того времени, восхищался, даже черезъ мѣру, Западомъ, умѣренно желалъ продолженія реформъ и страстно—увеличенія окладовъ чиновникамъ, почитывалъ журналы и бывшія въ модѣ книжки, восторгался новыми судами и земствомъ, про-

повѣдывалъ о женскихъ правахъ на высшее образованіе и изрѣдка даже, послѣ веселаго ужина въ интимномъ кружкѣ, таинственно намекалъ, озираясь вокругъ, на своевременность «правового порядка», однимъ словомъ, повторялъ все то, о чемъ въ то время говорили.

Орѣшниковъ, кромѣ того, любилъ щегольнуть не только либеральнымъ образомъ мыслей, но и цивическими добродѣтелями и нерѣдко въ курительной комнатѣ хвасталъ передъ департаментскими товарищами, что онъ, при случаѣ, даже не спуститъ самому начальнику отдѣленія, но въ дѣйствительности онъ былъ жесточайшій трусъ, боявшійся всякаго начальства даже болѣе, чѣмъ требовалось по времени. Онъ, конечно, съ негодованіемъ отрицалъ свою трусость, когда кто-нибудь уличалъ его, и объяснялъ ее благоразумной осторожностью. Но однажды, въ минуту полупьяной откровенности, онъ сознался, что въ немъ храбрости мало, тутъ-же залился слезами, называя себя почему-то свиньей, и прибавилъ, что это у него качество, вѣрно, унаслѣдованное. Пожалуй, онъ до извѣстной степени былъ правъ. Всѣ его предки, многочисленные Орѣшниковы, изъ захудалыхъ, малоземельныхъ дворянъ, служили чиновниками и каждый изъ нихъ всю свою жизнь болѣе или менѣе провелъ въ страхѣ и передъ начальствомъ, и передъ возможностью,

того и гляди, попасть подъ судъ за лихоимство, впрочемъ, довольно умѣренное, ибо Орѣшниковы были осторожны, да и особенно теплыхъ мѣстъ не занимали.

Передъ барышнями Аркадій Орѣшниковъ драпировался въ мантию цивическаго героя и вралъ, что называется, несосвѣтимо. На журъ-фиксахъ у матери своей, вдовы статскаго совѣтника, Θεозы Андреевны, онъ, бывало, такъ либеральничалъ, рисовалъ такія перспективы отдаленнаго будущаго, главнѣйшимъ образомъ о формахъ свободнаго брака, что почтенная старушка Θεоза Андреевна, всю свою жизнь проведенная въ чисткѣ квартиры съ метелкой въ рукахъ и въ заботахъ жить, какъ «люди живутъ», — покачивала въ ужасѣ головой и укоризненно замѣчала:

— Аркаша... Аркаша! Опомнись!

Но Аркаша и въ усь не дулъ, продолжая открывать широкіе горизонты будущаго человѣческаго устройства и невозможно перевирая вскользь прочитанныя имъ статьи.

Свою маменьку онъ считалъ отсталой женщиной.

И старушка, жившая съ зрѣлой дочерью Аглаей на маленькій пенсіонъ и проценты съ скромнаго капиталца, составленнаго покойнымъ мужемъ при помощи разныхъ негласныхъ оборотцевъ съ казенными деньгами, во время его

долгаго служенія экзекуторомъ департамента, не разъ въ то время говорила сыну:

— Ой, Аркадій... Съ такими понятіями можно и мѣсто потерять.

— А наплевать!—хорохорился Аркадій.

— Это какъ-же?

— А такъ-же...

Ееоза Андреевна въ страхѣ, бывало, только крестилась, воображая, что Аркаша и въ самомъ дѣлѣ удеретъ какую-нибудь штуку, лишится должности и очутится у нея на шеѣ.

Но давнишній ея знакомый и пріятель покойнаго мужа, старый матерый департаментскій «юсъ», Иванъ Ивановичъ Затыкинъ, безсмѣнный архиваріусъ, перемѣнившій пятнадцать господъ директоровъ, выдавшій виды и понимавшій людей, обыкновенно успокоивалъ огорчавшуюся старушку. Со спокойствіемъ чиновника-философа, давно бросившаго мечты о повыше-ніи и черпавшаго свою философію изъ департаментскаго архива и изъ наблюденій надъ сослуживцами, онъ говорилъ ей:

— Не сокрушайтесь, почтеннѣйшая Ееоза Андреевна, за своего Аркашу. Право, не сокрушайтесь.

— Какъ-же не сокрушаться, Иванъ Ивановичъ: онъ иногда *такое* говоритъ.

— А пусть себѣ говоритъ! Нонче, сударыня, всѣ такое говорятъ. Сами его превосходитель-

ство, господинъ директоръ департамента, и тотъ курьера на «вы» называетъ... Мода такая-съ... Вашъ Аркаша выболтается и, по времени, по иному заговорить.. А времена, Феоза Андреевна, переменчивы! — многозначительно прибавлялъ старикъ, лукаво подмигивая своимъ выпѣтшимъ, но все еще зоркимъ глазомъ.

— А пока что, какъ вдругъ да Аркаша мѣста лишится?

— Мѣста? За мѣсто-то вашъ Аркаша зубами держится, будьте покойны, Феоза Андреевна. Не даромъ Аркадій Николаичъ изъ Орѣшниковской породы... Начальство имъ довольно, а это, сударыня, какъ вамъ извѣстно, главное дѣло на службѣ... Ну и чиновникъ онъ ничего себѣ, исправный.. И перо есть... Умѣетъ всякую бумажку, какъ слѣдуетъ, изобразить. Того и гляди, при ваканціи, сдѣлаютъ вашего Аркашу столоначальникомъ, въ добрый часъ будь сказано!

Статская совѣтница успокоивалась за свой капиталецъ, предназначенный въ наслѣдство безнадежной дѣвицѣ Аглаѣ, оставшейся непристроенной, и, въ свою очередь, начинала расхваливать Аркашины способности и умъ.

## IV.

Господинъ Затыкинъ не ошибался. Орѣшниковъ дѣйствительно держался за мѣсто зубами и умѣлъ отлично ладить съ начальствомъ, хотя за глаза слегка и прохаживался на его счетъ, фанфаронства ради. И писаніе статейкъ, даже и рѣзвыхъ, не только не вредило тогда по службѣ (особенно, если статейки не касались вѣдомства, гдѣ служилъ авторъ), а напротивъ обращало на автора иногда лестное вниманіе.

Такимъ образомъ Аркадію Николаевичу литература даже помогла на первыхъ порахъ его житейской карьеры, а онъ, неблагодарный, впоследствии такъ бранилъ эту самую литературу!

Благодаря его же собственной хвастливой болтливости, весь департаментъ скоро узналъ, что помощникъ столоначальника Орѣшниковъ «пишетъ въ газетахъ». Это придало нѣкоторый престижъ молодому чиновнику въ глазахъ сослуживцевъ. Прочли, что онъ пишетъ, и одобрили. Довольно бойко и въ то-же время безъ рѣзкостей и въ умѣренномъ тонѣ. Начальникъ отдѣленія, добрый служака изъ дореформенныхъ чиновниковъ, сталъ подавать Орѣшни-

кову руку. Молва объ авторствѣ помощника столоначальника дошла и до самого директора, который, благодаря этому обстоятельству, впервые узналъ о существованіи такого чиновника и однажды потребовалъ его къ себѣ.

Появленіе курьера съ извѣстіемъ, что генералъ проситъ господина Орѣшникова, произвело въ отдѣленіи большую сенсацію. Всѣ завистливо недоумѣвали. Мнительный и болѣзненный столоначальникъ, во всемъ подозрѣвавшій интригу противъ себя, бросилъ испытующе-злой взглядъ на своего помощника. Начальникъ отдѣленія обиженно нахмурился и за то, что помимо его требуютъ чиновника его отдѣленія, и за то, что онъ не зналъ причины этого приглашенія. Самъ Орѣшниковъ жестоко струсилъ и вспомнилъ, какъ вчера позволилъ себѣ пройти на счетъ господина директора. Онъ старался скрыть свой испугъ подъ видомъ напускнаго равнодушія, однако замѣтно поблѣднѣлъ, ощутилъ внезапную боль въ поясницѣ и дрожащей рукой управлялъ прическу и галстухъ передъ входомъ въ кабинетъ директора.

За большимъ столомъ, прямо противъ двери, сидѣлъ сухощавый брюнетъ, лѣтъ сорока, въ вицъ-мундирѣ со звѣздой. При появленіи Орѣшникова, остановившагося у двери, онъ поднялъ голову и попросилъ молодого человекъ подойти.

Брюнетъ со звѣздой мягко и привѣтливо

взглянулъ на видимо испуганнаго Орѣшникова, подалъ ему руку и проговорилъ съ изысканной вѣжливостью:

— Вы—господинъ Орѣшниковъ?

— Я, ваше превосходительство! — отвѣчалъ Орѣшниковъ слегка дрогнувшимъ голосомъ, необыкновенно польщенный, что генералъ подалъ ему руку.

— Кончили университетъ?

— Да-съ.

— Это ваша статья сегодня въ «Ласточкѣ»?

— Моя-съ.

— Я прочелъ ее съ удовольствіемъ. Очень недурно и бойко написано.

Орѣшниковъ просто замеръ отъ восторга. Могъ-ли онъ ожидать такого вниманія отъ директора департамента? Онъ весь вспыхнулъ до корней волосъ и взволнованно прошепталъ:

— Я несказанно счастливъ, ваше превосходительство!

— Отчего это?—нѣсколько удивленно спросилъ сухошавый брюнетъ со звѣздой.

— Оттого... оттого, что удостоился похвалы такого читателя, какъ ваше превосходительство!

По лицу его превосходительства пробѣжала тѣнь. Онъ остановилъ пристальный и серьезный взглядъ на молодомъ человѣкѣ. Но лицо Орѣшникова сіяло такъ искренно и дышало такимъ неподдѣльнымъ выраженіемъ восторга, умиле-



нія и преданности, что сухощавый брюнетъ снисходительно улыбнулся, протянулъ руку и сказалъ, что Орѣшниковъ можетъ идти.

Въ тотъ-же день директоръ департамента освѣдомился у начальника отдѣленія, хорошій-ли чиновникъ Орѣшниковъ и, получивъ утвердительный отвѣтъ, промолвилъ:

— Имѣйте его въ виду, когда откроется вакансія столоначальника.

Отъ директора Орѣшниковъ пришелъ въ отдѣленіе съ самымъ равнодушнымъ видомъ. Онъ разсказалъ обступившимъ его сослуживцамъ о своей бесѣдѣ съ генераломъ, въ значительной степени преувеличивъ сказанные ему комплименты, и когда кто-то его поздравилъ, онъ небрежно отвѣтилъ:

— Есть съ чѣмъ!

А вечеромъ, въ одномъ литературномъ кружкѣ, Орѣшниковъ разсказывалъ, что «его генералъ» сдѣлалъ ему замѣчаніе за статью, но что ему «плевать» на это.

## V.

На Орѣшниковѣ, какъ на чувствительномъ барометрѣ, отражались всѣ разнообразныя от-

тѣнки вѣяній времени. Онъ былъ вѣрнѣйшимъ указателемъ того, что думаетъ, о чемъ говорить и что читаетъ «улица» въ данный моментъ.

Я встрѣчался съ Аркадіемъ Николаевичемъ въ тѣ времена довольно часто—онъ доводился мнѣ родственникомъ — и не безъ любопытства наблюдалъ, съ какою легкостью онъ мѣнялъ свои мнѣнія. Плохо знавшіе Орѣшникова люди звали его «переметной сумой» и въ этихъ быстрыхъ перемѣнахъ усматривали разсчитанную преднамѣренность, но я всегда защищалъ своего родственника отъ этихъ нападковъ. Еслибы была преднамѣренность! Ея-то именно и не было. Онъ и самъ не замѣчалъ, какъ съ одинаковою стремительностью сегодня порицалъ то, что еще вчера хвалилъ, какъ-то инстинктивно, въ силу стадности, приспособляясь къ господствовавшимъ теченіямъ. Вполнѣ увѣренный, что выражаетъ собственныя мнѣнія, онъ повторялъ мнѣнія газеты, которую читалъ. И—характерная черта русскаго человекѣка! Повторяя съ чужихъ словъ иногда жестокія вещи и поступая, подчасъ, далеко не безупречно даже съ точки зрѣнія примитивной этики, Аркадій Николаевичъ во всѣ фазисы своей жизни оставался все тѣмъ же добродушнымъ, легкомысленнымъ и веселымъ человекѣкомъ, какимъ я зналъ его въ молодости.

Года черезъ три послѣ нашего знакомства

Орѣшниковъ, сдѣлавшійся столоначальникомъ, отпустившій себѣ бакенбарды котлетами и перемѣнившій фетръ на цилиндръ, все еще называлъ себя либераломъ, но о дальнѣйшихъ реформахъ выражался уклончиво (нужно-де и съ настоящими-то разобратъся и ихъ упорядочить!). Общество дамъ и барышень Аркадій Николаевичъ по-прежнему очень любилъ — не даромъ у него были такія пышныя алыя губы, — но уже не огорашивалъ слушательницъ широкими горизонтами будущаго, а больше напиралъ на эстетическіе идеалы, любилъ по веснѣ декламировать «Шепоть, робкое дыханіе, трели соловья» и выражалъ боязнь, какъ бы занятія медициною (хотя онъ, по существу, ничего противъ нихъ не имѣеть) не лишили женщину лучшаго украшенія—женственности. Статейки Орѣшниковъ продолжалъ пописывать, но уже не столь рѣзвыя и съ болѣе ограниченнымъ выборомъ темъ: болѣе о гессенской мухѣ, о колорадскомъ жучкѣ или о попавшемся въ растратѣ коллежскомъ секретарѣ, на которомъ можно было излить гражданскую скорбь объ «этихъ прискорбныхъ случаяхъ лихоимства». На-счетъ худоцаваго брюнета со звѣздой Аркадій Николаевичъ даже и за глаза не позволялъ себѣ отзываться непочтительно, а напротивъ, говоря о директорѣ департамента, вдругъ становился серьезнымъ и солиднымъ,

словно бы отчасти и самъ онъ несъ тяготу и отвѣтственность его положенія.

Во время «сербскаго возбужденія» Орѣшниковъ возбудился до того, что все свободное отъ службы время носился, какъ бѣшеный, по городу, собиралъ въ конкахъ вмѣстѣ съ зрѣлыми дѣвами пожертвованія, плакалъ и умилялся, заказывалъ хоругви, провожалъ добровольцевъ и вездѣ такъ трещалъ о «славянской идеѣ», что охрипъ. Но скоро пылъ его прошелъ, и Орѣшниковъ сталъ поругивать и «братушекъ» и добровольцевъ. Затѣмъ онъ съ такимъ же азартомъ распинаяся за «братушекъ-болгаръ», и когда объявлена была война, воспламенился такимъ воинственнымъ духомъ, что хотѣлъ-было поступить въ юнкера, еслибы только можно было не рисковать жизнью. Онъ требовалъ Константинополя и проливовъ, найдя внезапно, что безъ нихъ жить никакъ невозможно, проливалъ слезы надъ героемъ русскимъ солдатикомъ, возмущался недобросовѣстными интендантами и въ то-же время втайнѣ завидовалъ непопавшимся счастливымъ, нажившимъ на войнѣ сумасшедшія деньги. Плевна заставила его пріунуть, но не надолго. Успѣхи нашего оружія вновь окрылили Орѣшникова. Онъ снова носился съ Константинополемъ и проливами, умилялся братушками и просился было къ нимъ вице-губернаторомъ, чтобы осчастливить ихъ хо-

рошимъ управленіемъ, а себя хорошимъ содержаніемъ. Однако это не удалось, и Орѣшниковъ остался дома столоначальникомъ.

Санъ-стефанскій договоръ не вполнѣ удовлетворилъ расходившагося въ ту пору Аркадія Николаевича. Онъ досадовалъ, что Константинополь не сдѣлался губернскимъ городомъ и что тамъ не будетъ (въ этакомъ-то прелестномъ климатѣ!) ни русскаго театра, ни русскихъ чиновниковъ. Собственно говоря, онъ и самъ не зналъ, зачѣмъ ему Константинополь, но храбро говорилъ и объ «естественномъ выходѣ въ море», и объ «обмѣнѣ продуктовъ» и «вообще» о «задачахъ Россіи».

Не смотря на лишеніе Константинополя, онъ, однако, ликовалъ, надѣясь, что при «цѣлокупной» Болгаріи да съ нашими въ ней начальниками, Царьградъ отъ насъ не уйдетъ,—ликовалъ и вмѣстѣ съ тѣмъ бранилъ Биконсфильда, что называется, на всѣ корки, безъ малѣйшаго стѣсненія, даже и у себя въ отдѣленіи. Онъ награждалъ перваго англійскаго министра такими ругательными эпитетами, критикуя его внѣшнюю и внутреннюю политику съ такой свободной развязностью, что однажды почтенная Θεоза Андреевна, не разобравшая въ чемъ дѣло и тугая на одно ухо, просто-таки обомлѣла и смотрѣла на сына испуганно во всѣ глаза, словно на только-что вырвавашагося изъ

сумасшедшаго дома. Добрая старушка пришла въ себя лишь тогда, когда сынъ объяснилъ ей, что дѣло идетъ объ англійскомъ министрѣ и притомъ гадившей намъ державы.

Тѣмъ не менѣе Θεоза Андреевна все-таки наставительно замѣтила:

— А все, Аркаша, ты бы полегче. Чужой, чужой, а все-же министръ!

— Да вы, маменька, прочтите, какъ этого «проходимца» газеты честятъ. Такъ, маменька, продергиваютъ, что любо! — со смѣхомъ отвѣчалъ Орѣшниковъ.

Санъ-стефанскій «восторгъ» довольно скоро смѣнился берлинскимъ «уныніемъ». Во время конгресса Аркадій Николаевичъ только и повторялъ: «мы не позволимъ!» и разъ даже, подкутивши у Палкина, присталъ къ какому-то посѣтителю съ вопросомъ «позволить-ли онъ или нѣтъ?» По счастью и посѣтитель, оказавшійся интендантскимъ чиновникомъ, самымъ категорическимъ образомъ «не позволялъ», въ надеждѣ вновь завѣдывать какимъ-нибудь складомъ, и дѣло кончилось благополучно. Оба не позволявшіе выпили шампанскаго и завершили вечеръ въ танцъ-классъ.

Когда дѣйствительность показала, что слѣдуетъ позволить, Аркадій Николаевичъ тотчасъ же и самъ «позволилъ» и съ обычной стремительностью вездѣ доказывалъ, что соображенія

высшаго порядка заставляють насъ быть благо-разумными, и изъ яраго шовиниста обратился въ миролюбца, по временамъ не забывая, однако, посылать шпильки по адресу Бисмарка.

Не прошло и мѣсяца по окончаніи войны, какъ уже Орѣшниковъ забылъ и о войнѣ, и о Царьградѣ, и о братушкахъ и занялся спиритизмомъ, проводя три вечера въ недѣлю на сеансахъ въ обществѣ спиритокъ. Затѣмъ бросилъ спиритизмъ и восхищался какой-то пріѣзжей дивой, а послѣ—свѣдущими людьми. Затѣмъ одно время онъ вновь вдругъ заговорилъ о какомъ-то «упорядоченіи», снова сталъ декламировать: «Впередъ, друзья, безъ страха и сомнѣнья», но внезапно смолкъ и, рѣшительно не зная, что ему теперь говорить, завинтилъ безъ удержа.

Тѣмъ временемъ онъ ужъ исправлялъ должность начальника отдѣленія и, за многочисленностью занятій, статейекъ не писалъ. Маменька все совѣтовала ему жениться—слава Богу ужъ Аркашѣ тридцать семь лѣтъ,—но Орѣшниковъ отклонялъ этотъ разговоръ, находя, что «такъ» лучше и что семья требуетъ большихъ расходовъ.

## VI.

Вскорѣ Орѣшниковъ получилъ предложеніе ѣхать въ провинцію. Онъ согласился; мѣсто было довольно приличное. Но прежде чѣмъ ѣхать въ Оренбургскій край, Орѣшниковъ совершенно неожиданно женился и притомъ на дѣвицѣ совсѣмъ не въ его вкусъ. Аркадій Николаевичъ любилъ барышень свѣжихъ и молодыхъ, не худощавыхъ, а скорѣе даже полныхъ, а между тѣмъ его молодая жена была особа уже второй молодости, лѣтъ тридцати, худощавая, малокровная, поблеклая брюнетка, далеко не красивая, но, разумѣется, «симпатичная», какъ отзывались о ней ея болѣе милovidныя подруги. Она была генеральская дочь, умна и съ характеромъ, кое-чему училась и читала, въ молодости штудировала Гёте, недурно играла на фортепяно, знала два языка, отличалась большимъ тактомъ и щеголяла манерами и комильфотностью. Она едва-ли бы пошла за Орѣшникова, фамилія котораго звучала въ ея ушахъ не особенно красиво, если-бы не ея критическій возрастъ и не пышныя румяныя щеки Аркадія Николаевича вмѣстѣ съ его ослѣпительными бѣлыми зубами и мягкимъ характеромъ.



Родственники Орѣшникова и, главнѣйшимъ образомъ, Θεоза Андреевна говорили тогда, что «бѣдный Аркаша» попался какъ куръ во ши, женившись на этой перезрѣвшей дѣвицѣ. Онъ, видите-ли, легкомысленно повѣрилъ намекамъ будущей тещи, бойкой вдовы генерала Буеракина, на-счетъ значительнаго обезпеченія за Наденькой. И какъ было не повѣрить! Буеракины жили хорошо: квартира, обстановка... мать и дочь одѣвались щегольски... и вдругъ, послѣ вѣнца, вмѣсто значительнаго обезпеченія, Аркашѣ преподнесли всего три тысячныхъ билета...

— Просто надули Аркашу,—говорила Θεоза Андреевна.

И добродушно прибавляла:

— Самъ и виноватъ!.. Зачѣмъ передъ вѣнцомъ не оформилъ дѣла!

Хотя и Аркадій Николаевичъ понялъ, что поступилъ опрометчиво, однако скоро примирился съ положеніемъ. Наденька, постоянно говорившая въ дѣвичество, что терпѣть не можетъ мужчинъ, любить одну психологію и никогда не выйдетъ замужъ, — оказалась такой влюбленной, заботливой и нѣжной женой, что Орѣшниковъ скоро забылъ, что его «надули» съ приданымъ, и привязался къ этой по виду холодной, но необычайно пылкой сухощавой брюнеткѣ, дарившей его такой го-

рячей любовью. Нечего и говорить, что Наденька, какъ дама умная, скоро понявшая супруга, не замедлила прибрать своего «Аркадія» къ рукамъ, не давая ему этого замѣтить и умно играя роль послушной жены, готовой исполнять малѣйшія желанія мужа. Это очень льстило самолюбію Аркадія Николаевича.

Въ губернскомъ городѣ, гдѣ поселились супруги, Наденька скоро сдѣлалась одной изъ первыхъ дамъ. Ее называли большой умницей. Она умѣла поговорить и о литературѣ, и объ исторіи, и особенно любила психологическіе разговоры. Она отлично поддерживала связи, была дружна съ губернаторшей, со всѣми ладила, ни съ кѣмъ не ссорясь, не сплетничала и вообще держала себя съ большимъ тактомъ, одѣваясь къ тому-же съ изяществомъ.

Домъ свой она вела въ образцовомъ порядкѣ. Квартира у нихъ была уютная, хорошо обставленная, убранная со вкусомъ. Ъли они отлично и, при умѣлой экономіи Наденьки, жили безъ долговъ. Горничныхъ она всегда выбирала некрасивыхъ, но умѣла отлично ихъ школить.

Подъ бокомъ у такой жены Орѣшниковъ чувствовалъ себя счастливымъ, тѣмъ болѣе, что съ перваго же года замужества Наденька, къ удовольствію мужа, стала замѣтно добрѣть. Въ ея смуглыхъ, прежде блѣдныхъ щекахъ появился румянецъ. Взглядъ черныхъ глазъ сталъ спо-

койнѣй и добрѣй, и прежняя дѣвичья нервность исчезла. Когда Наденька бывала въ бѣломъ капотѣ, съ распущенными черными волосами и, томно шуря глаза, глядѣла на Аркадія,—мужъ находилъ свою супругу даже обворожительной и нѣжно увѣрялъ ее въ своей любви.

Въ теченіе двухъ лѣтъ объ Орѣшниковыхъ доходили хорошія вѣсти. Сама Θεоза Андреевна, не долюбливавшая невѣстку и чувствовавшая, что Наденька считаетъ ее очень «мовежанрой» дамой, стала отзываться о невѣсткѣ благосклоннѣе, получивъ отъ нея въ подарокъ оренбургскій платокъ вмѣстѣ съ нѣжпымъ письмомъ. Когда же Наденька сообщила, что они необыкновенно дешево купили двѣ тысячи десятинъ, за которыя теперь же даютъ хорошія деньги, Θεоза Андреевна была совсѣмъ побѣждена и вскорѣ, по случаю появленія на свѣтъ внука Николая, послала ему на зубокъ, не смотря на свою скупость, триста рублей.

Между тѣмъ, благодаря нескромности какого-то корреспондента, поднялась такъ-называемая «уфимская исторія», обратившая на себя вниманіе правительства на расхищеніе земель въ Оренбургскомъ краѣ. Въ числѣ многихъ, прикосновенныхъ къ этой исторіи, оказался и Орѣшниковъ. Вышли непріятности. Хотя Аркадій Николаевичъ и избѣжалъ серьезной отвѣтствен-

ности, однако долженъ былъ выйти въ отставку, успѣвъ, впрочемъ, благополучно продать свой съ неба упавшій участокъ за тридцать тысячъ.

Справедливость требуетъ замѣтить, что въ дѣлѣ покупки главной виновницей была Наденька. Самъ Аркадій Николаевичъ сперва находилъ несовсѣмъ благовиднымъ, пользуясь своимъ положеніемъ, покупать за баснословно дешевую цѣну землю да еще завѣдомо принадлежащую башкирамъ. Но Наденька такъ умно вела по этому поводу бесѣды съ мужемъ, указывая, что такимъ образомъ приобрѣтаютъ земли «всѣ», при чемъ такъ горячо говорила о будущности дѣтей (она въ это время была беременна и ждала второго ребенка), что Аркадій Николаевичъ скоро уступилъ и сдѣлалъ, какъ «всѣ». Приобрѣтя землю, онъ почувствовалъ себя вскорѣ вполне довольнымъ и ничего неблаговиднаго въ этомъ уже не видалъ, не предвидя будущихъ непріятностей. Напротивъ, онъ находилъ, что переходъ пустующихъ земель въ культурныя руки есть въ нѣкоторомъ родѣ полезное для государства дѣло.

Послѣ отставки, Орѣшниковы пріѣхали въ Петербургъ.

Въ это время Аркадій Николаевичъ называлъ себя умѣреннымъ консерваторомъ. Онъ начиналъ поговаривать о паденіи основъ и бранить

ту самую «Ласточку», въ которой когда-то помѣщаль рѣзвыя статейки и мнѣнія которой, бывало, повторялъ. Но особенно въ ту пору Аркадій Николаевичъ ругалъ «негодяевъ корреспондентовъ» и говорилъ, что пора обуздать «этихъ разбойниковъ пера» и запретить печати касаться лицъ, находящихся на службѣ, чтобы не подрывать престижа власти. Онъ былъ по-прежнему добродушенъ, легкомысленъ и рѣшителенъ въ сужденіяхъ, но на немъ лежала печать нѣкоторой меланхоли, которую кто-то изъ его знакомыхъ назвалъ «уфимской меланхоліей», и искалъ мѣста.

Нѣсколько лѣтъ я не видалъ Аркадія Николаевича, но имѣлъ извѣстія, что онъ, благодаря хлопотамъ Наденьки и отчасти своимъ собственнымъ, устроился очень хорошо: членъ какой-то временной комиссіи, директоръ въ двухъ правленіяхъ и получаетъ тысячъ двѣнадцать въ годъ. вмѣстѣ съ тѣмъ сообщали, что Аркадій Николаевичъ очень веселъ, совсѣмъ забылъ объ уфимской исторіи, считая ее просто тенденціозной выдумкой либеральной печати, называетъ себя истинно русскимъ человекомъ, шьетъ платье изъ русскаго сукна, пьетъ русскія вина, ругательски-ругаетъ Европу и жалуется на снисходительность правительства, терпящаго гласный судъ и разныя другія учрежденія, во все не отвѣчающія, по его мнѣнію, нашему

національному характеру. Прибавляли, что Орѣшниковъ попрежнему счастливъ съ Надежкой, имѣетъ трехъ человекъ дѣтей и почти ежедневно винтитъ.

## VII.

Нынѣшнимъ лѣтомъ, когда я однажды сидѣлъ послѣ завтрака передъ кафе на бульварѣ С. Мишель, пробѣгая газеты, кто-то громко, крикливымъ теноркомъ, окликнулъ меня по-русски. Смотрю и не вѣрю глазамъ: передо мной стоялъ Орѣшниковъ съ супругой.

Аркадій Николаевичъ, значительно потолстѣвшій, съ солиднымъ брюшкомъ, круглый, крѣпкій и румяный, мало постарѣвшій, весело поводитъ своими сочными толстыми губами и добродушно улыбался. Въ петлицѣ краснѣла орденская ленточка.

— Не узнаете?

— Какъ не узнать!

Онъ радостно облобызался со мною троекратно, засусливъ мнѣ губы, а Надежда Пав-

ловна, изяшно, по послѣдней модѣ одѣтая, гладкая и раздобрѣвшая, глядѣвшая изъ-подъ бѣлой вуалетки съ мушками еще довольно можавой для своихъ сорока лѣтъ, привѣтливо, по родственному пожала мнѣ руку.

— Наконецъ-то встрѣтили русскаго человека да еще родственника! — радостно отдуваясь, проговорилъ Орѣшниковъ, присаживаясь съ Надеждой Павловной къ моему столику. А то пять дней путаюсь въ Парижѣ и ни одной русской души.

Въ эту минуту спѣшно подошелъ гарсонъ, вопросительно глядя, въ ожиданіи заказа.

— Чего, Наденька, хочешь? Вѣдь здѣсь, въ свободной странѣ, нельзя такъ просто посидѣть. Непремѣнно ѣшь или пей! — иронически прибавилъ Аркадій Николаевичъ.

— Все равно... какого-нибудь питья.

— Вы что это пьете? — обратился Орѣшниковъ ко мнѣ.

— Гренадинъ.

— Ну и мы, Наденька, спросимъ гренадину. Только не фальсификація ли это какая-нибудь, а? Вѣдь тутъ держи ухо востро... Всякую дрянъ дадутъ...

Аркадій Николаевичъ говорилъ такъ громко, что на него взглянули.

— Говори тише, Аркадій! — остановила его Наденька.

И почему-то особенно привѣтливо, даже заискивающе улыбаясь гарсону, какъ дѣлаютъ многія русскія дамы, первый разъ бывающія за границей и желающія передъ всѣми показать, что онѣ не «варварки», — Надежда Павловна, видимо разсчитывая щегольнуть своимъ французскимъ выговоромъ, произнесла, слегка грацируя:

— Deux grenadines, s'il vous plait!

Послѣ нѣсколькихъ разспросовъ о родныхъ и общихъ знакомыхъ, я освѣдомился, давно ли Орѣшниковы за границей.

— Мѣсяца уже полтора... Доктора послали Наденьку въ Франценсбадъ, а я кстати въ Мариенбадъ свой жиръ спускалъ... Вотъ сюда на десять дней пріѣхали, да, кажется, послѣ завтра уѣдемъ...

— Что такъ?

— И по дѣткамъ соскучились, и по Россіи... Не нравится намъ вся эта прогнившая цивилизація... Ну и французы тоже... Нечего сказать, хваленый любезный народъ! Просто, я вамъ скажу, дрянь!—со своей обычной развязной рѣшительностью прибавилъ Аркадій Николаевичъ, возвышая голосъ и видимо начиная закипать.

— Аркадій! Потише... На насъ обращаютъ вниманіе!— снова остановила его Надежда Павловна.



Въ ея тихомъ, мягкомъ голосѣ слышалось почти приказаніе.

— А пусть обращаютъ. Плевать мнѣ на нихъ!—продолжалъ Орѣшниковъ, значительно понижая, однако, свой крикливый голосъ. Пора ужъ намъ перестать раболѣпствовать передъ иностранцами и стыдиться, что мы рускіе...

И, проговоривъ эту тираду, Орѣшниковъ хлебнулъ питья и продолжалъ:

— Да, прожужжали намъ уши: Европа, парламентъ, удивительные порядки, а какъ посмотришь, никакого здѣсь настоящаго порядка нѣтъ. Одинъ лишь показной лоскъ, фальшь, обманъ, болтовня и обирательство. Еще называется свободная страна... Хваленая французская республика. Вездѣ: «Liberté, Fraternité, Egalité», а съ меня, подлецы, на таможи нѣ слупили шестьдесятъ франковъ за папиросы! Какъ вамъ это понравится? — прибавилъ Орѣшниковъ, видимо раздражаясь при этомъ воспоминаніи.

— Вы вѣрно не объявили, что у васъ есть папиросы?—замѣтилъ я, сдерживая улыбку.

— Положимъ, не объявилъ. Такъ что за бѣда, если у путешественника папиросы... не курить же здѣшнюю дрянъ! Кажется, можно понять, что я ихъ везу не для продажи... Ну я и расовалъ двѣ тысячи папиросъ, знаете ли, въ бѣлье и въ рукава пальто... Съ какой стати

я буду еще этимъ прохвостамъ за свои же папиросы платить пошлину,—и безъ того съ насъ, иностранцевъ, вездѣ дерутъ! Думаю: дамъ таможенному французу, какъ давалъ нѣмцу въ Эйдкуненѣ, франкъ и правъ! Хорошо. Приѣзжаемъ въ Парижъ... Идемъ къ осмотру... Подходитъ къ намъ плюгавый какой-то французишка и спрашиваетъ: «нѣтъ ли чего?» Я по-французки не очень-то боекъ, такъ Наденька любезно такъ говоритъ, что ничего нѣтъ, объясняетъ, что мы русскіе, и что я *Consellier d'Etat* въ отставкѣ... Французъ улыбается... А я тѣмъ временемъ показываю ему два франка—отпусти моль, съ Богомъ! А онъ, шельма, машетъ съ улыбкой головой и велитъ открыть сундуки... Сталъ шарить... Вытащилъ одну коробку, другую, третью, четвертую... Скандаль! Да еще, подлець, иронизируетъ: «Какъ же вы говорили, что ничего нѣтъ? У васъ, говоритъ, цѣлое «*bureau de tabac!*» Ну хорошо, жри деньги! А то водили насъ по разнымъ мытарствамъ, записывали въ десять книгъ, пока не отпустили, продержавши цѣлые полчаса. Нечего сказать, порядки! — съ торжествующей ироніей заключилъ Аркадій Николаевичъ, желавшій, по обычаю многихъ россіянъ, надуть таможду.

Я, разумѣется, не сталъ объяснять ему всей наивности этихъ спеціально русскихъ жалобъ и дипломатически молчалъ, не безъ интереса ожи-

дая, какъ еще Аркадій Николаевичъ будетъ бранить европейскіе порядки. По началу, характеръ его брани обѣщалъ быть любопытнымъ.

— Или, напримѣръ, здѣшніе извошники... Я ему заплати по таксъ да еще, кромѣ того, обязанъ давать на водку... Такъ и въ гидахъ сказано. А если не дашь, онъ тебя обругаетъ... Это, видите-ли, цивилизація!.. Да тутъ вездѣ обманъ, наглый обманъ... Слава Богу, мы до такой цивилизаціи не дошли... У насъ, у русскихъ, еще совѣсть есть. Вчера, напримѣръ, идемъ мы съ Наденькой по Севастопольскому бульвару, видимъ вывѣска: *Cafée-Concert, entrée libre*... Думаю: зайдёмъ, взглянемъ. Входимъ, садимся, а ужъ гарсонъ подлетаетъ: «Что, говоритъ, угодно?» — «А ничего не угодно!» — «Такъ, говоритъ, *monsieur et madame*, нельзя!» Это, видите-ли, *entrée libre*... Да ты лучше за входъ бери, а не обманывай... А европейское скаредство!.. Въ Австріи, напримѣръ, считаютъ, сколько ты булочекъ съѣлъ... Просто мерзость!

— А въ Берлинѣ съ насъ взяли по 50 пфениговъ за то, что мы за обѣдомъ въ гостинницѣ вина не пили! — пожаловалась Надежда Павловна.— Конечно, не въ 50 пфенигахъ дѣло (хотя для экономной Наденьки именно въ нихъ-то и было дѣло), а въ наглomъ обирательствѣ...

— А хваленая французская вѣжливость, про которую протрубили на весь міръ!—заговорилъ

снова Аркадій Николаевичъ. — Ъдемъ мы вчера утромъ въ конкѣ. Я, признаться, нѣсколько свободно усѣлся — у нихъ такія крошечныя мѣста! Такъ кондукторъ-каналья, вмѣсто того, чтобы подойти и вѣжливо попросить, крикнулъ на весь вагонъ, чтобы я далъ другимъ мѣсто, да еще, обращаясь къ кому-то, прошелся на мой счетъ и назвалъ меня «gros monsieur». Скотина этакая! А на желѣзной дорогѣ тоже! Одинъ французъ вошелъ въ вагонъ перваго класса, приложился къ шляпѣ, безъ церемоніи снялъ мои вещи, положилъ ихъ на сѣтку и усѣлся на свободное мѣсто да еще ехидно объясняетъ что мѣста въ вагонахъ не для вещей, а для сидѣнья, точно я этого и безъ него не понимаю! Нечего сказать, любезность! Вотъ, спросите Наденьку, какая у нихъ и любезность-то пакостная, какъ съ ней прикащики въ магазинахъ говорили!

— Не стоить объ этомъ рассказывать! — замѣтила Надежда Павловна съ видомъ оскорбленной скромности.

— Нѣтъ ты расскажи, Наденька, какіе двусмысленные комплименты отпускали тебѣ эти безстыдники въ Луврѣ.

Признаться, я удивился, ибо никогда не слышалъ подобныхъ нареканій на французскихъ прикащиковъ, и еще въ такихъ магазинахъ, какъ Луврѣ; да, по совѣсти говоря, никакъ не могъ

даже и предположить, чтобы у нихъ явилось особенное желаніе говорить Надеждѣ Павловнѣ, не смотря на ея молодожавость, комплименты да еще «двусмысленные».

— Что-же они говорили вамъ?—спросилъ я Орѣшникову.

— Повидимому, какъ будто ничего особеннаго... Обыкновенная прикащичья любезность... французская манера говорить комплименты, но они при этомъ смотрѣли такъ нагло въ глаза, улыбались такъ двусмысленно, что я, кажется, уже не молодая женщина, а краснѣла, какъ дѣвочка... Можетъ быть, француженкамъ это и нравится, а порядочныя русскія женщины къ этому не привыкли! — съ чувствомъ благороднаго негодованія сказала Надежда Павловна и прибавила тономъ горделиваго превосходства: Мы вѣдь не француженки, слава Богу!

Я опять промолчалъ. Надежда Павловна такъ увѣренно говорила, что возражать было и напрасно, и нелюбезно. Мало-ли есть дамъ — и преимущественно не изъ особенно красивыхъ — умѣющихъ въ самыхъ обыкновенныхъ взглядахъ видѣть покушеніе на романъ.

— А ѣдятъ-то какъ! — заговорилъ Аркадій Николаевичъ, — одна слава, что подають много кушаній, а ихъ обѣдъ не стоить нашихъ двухъ блюдъ. У насъ всталъ изъ-за стола — и вполне доволенъ, даже пуговицу штановъ хочется раз-

стегнуть, а здѣсь? Отобѣдалъ и хотъ снова садись за столъ! Супы—вода... Мясо—не знаешь самъ, какое... можетъ быть и настоящее, а можетъ быть ты собаку или кошку ѣшь... Еще бы! Мясо-то у нихъ полтора франка фунтъ... и приходится изворачиваться.

— А эти неприличные сцены на улицахъ?.. Эти безстыдные продажныя женщины на бульварахъ... Ихъ костюмы!?!—вставила Надежда Павловна.

— Открытый развратъ! — подтвердилъ и Орѣшниковъ.

— И хотъ бы красивыя! Говорили: французженки привлекательны... Быть можетъ, мужчины и находятъ въ нихъ привлекательность, но я не нахожу... Я и хорошенькихъ здѣсь почти не видала...

— А квартиры здѣшнія?.. Комнаты крошечныя... Темнота... Зимой холодъ... Какой-то «Choubersky», вмѣсто нашей православной печки... А эти ночные крики на улицахъ!..

— Какіе крики?—спросилъ я.

— Да какъ-же! Горланятъ себѣ ночью марсельезу или другое что-нибудь, и горя мало... Идетъ компанія и оретъ... Или студентовъ орава съ гамомъ, крикомъ на-дняхъ неслась по улицѣ... У насъ давно бы въ участокъ взяли за безпорядокъ, а здѣсь ори себѣ, ходи скопомъ, сдѣлай одолженіе! Мѣшай спать добрымъ людямъ,

мѣшай проходимъ... Это называется свободой...  
Благодарю покорно!

Я слушалъ Орѣшникова, слушалъ, съ какимъ развязнымъ апломбомъ онъ обобщалъ свои пятидневныя наблюденія и критиковалъ то, о чемъ имѣлъ смутныя понятія, и невольно припомнилъ тѣ времена, когда онъ съ такою же развязностью восхищался французами, стремился «поцѣловать камни Парижа», открывалъ передъ барышнями широкіе горизонты будущаго или энергично требовалъ Царьграда и проливовъ.

И, глядя на это добродушное, пышащее здоровьемъ лицо, я задалъ себѣ вопросъ: «Что будетъ повторять этотъ типичный представитель «улицы» еще лѣтъ черезъ пять?»

А Аркадій Николаевичъ между тѣмъ спѣшилъ сообщить свои впечатлѣнія и продолжалъ:

— А газеты здѣшнія каковы! Такъ-таки и называютъ своихъ министровъ мошенниками и безъ церемоніи изображаютъ ихъ въ невозможныхъ карриатурахъ... Самого президента Карно честятъ чуть-ли не идиотомъ... И все это они называютъ свободой прессы... Да, скажите на милость, какъ послѣ этого власть можетъ имѣть необходимый престижъ?.. Оттого-то они и не уважаютъ правительства и мѣняютъ министровъ, какъ перчатки... Да что и говорить... Просто прогнившая нація...

Въ тотъ же день мы обѣдали вмѣстѣ. За обѣдомъ Орѣшниковы не переставали фыркать на «заграницу». Особенно досталось палатѣ депутатовъ. Нѣсколько дней тому назадъ они попали на засѣданіе (хозяинъ гостинницы досталъ имъ билеты), и Аркадій Николаевичъ такъ передавалъ свои впечатлѣнія:

— Одѣты всѣ, я вамъ скажу, какъ сапожники... Такое мѣсто—палата, а они въ пиджакахъ, да вестончикахъ, точно у себя дома... У насъ и на службѣ надѣнь вицъ-мундиръ, а здѣсь приходи въ чемъ тебѣ угодно... Шумъ, гамъ, точно въ кабацѣ... Говорить ораторъ и, если онъ не нравится, никто его и не слушаетъ... Ходятъ, разговариваютъ, смѣются... Кричатъ потомъ: «Votès, votès», а о чемъ «voter» и сами, я думаю, не знаютъ... Безобразное зрѣлище! Да у насъ въ любомъ департаментѣ, ей Богу, больше порядка и смысла, чѣмъ здѣсь въ парламентѣ. Тихо, мирно, благородно все, какъ слѣдуетъ, по порядку... Написалъ докладъ, во время разсмотрѣть, утверждаютъ и дѣлу конецъ... Да, батюшка, эти «говорильни» отживаютъ свой вѣкъ... Всѣ начинаютъ понимать—даже и лучшіе умы въ Европѣ—что при одномъ королѣ больше и счастья, и порядка, чѣмъ при пятистахъ короляхъ-депутатахъ! Недалеко время, когда Европа придетъ къ этому, и парламенты по боку. Обязательно! И безъ того повсюду безбожіе, со-



мнѣніе, отсутствіе устоевъ... Одни только мы, русскіе, еще не забыли Бога и совѣсти... Да, не забыли! Какъ истинно-русскій человекъ говорю! — прибавилъ Аркадій Николаевичъ и, прослезившись, хлопнулъ кулакомъ себѣ въ грудь.

Онъ выпилъ почти одинъ двѣ бутылки хорошаго «помара» и былъ нѣсколько возбужденъ. Покончивъ съ «Европой», онъ заговорилъ о великой будущности Россіи и размякъ... Онъ хваливалъ и добрый, способный русскій народъ, оговорившись, однако, что его все-таки надо отечески пороть (мужичекъ самъ этого желаетъ), хвалилъ чудную русскую жену и мать, хвалилъ теперешнюю трезвенную молодежь, нашу широкую натуру, выносливость, гостепріимство, говорилъ, что мы, слава Богу, теперь на настоящей дорогѣ, что всякому порядочному человеку легко дышать, и, заключивъ свою рѣчь увѣреніемъ, что намъ отнюдь не надо походить на полный Западъ съ его развратомъ, — совсѣмъ неожиданно предложилъ ѣхать въ «Bouffes Parisiennes».

— Хочешь, Наденька? — заискивающе-умильно спросилъ онъ жену.

Но Надежда Павловна, все время слушавшая мужа съ сочувствіемъ и даже съ нѣкоторою гордостью, отвѣтила, что устала. «У нея и голова болитъ, да и вообще она не охотница до такихъ представленій!» — прибавила Надежда

Павловна, чуть-чуть кривя свои тонкія губы и чуть-чуть подчеркивая слово: «такія».

— Не пойти-ли намъ вдвоемъ? — нерѣшительно обратился ко мнѣ Орѣшниковъ, взглядывая искоса на жену.

— Да вѣдь и ты, Аркадій, усталъ. Лучше пораньше ляжемъ спать, да хорошо выспимся... А, впрочемъ, какъ тебѣ угодно. Мною, пожалуйста, не стѣсняйся!

Аркадій Николаевичъ тотчасъ-же согласился, что оно, пожалуй, и лучше лечь пораньше спать, и скоро мы распростились. Орѣшниковы просили не забывать ихъ въ Петербургѣ. Они собирались уѣзжать въ Россію черезъ два—три дня.

На другой-же день мнѣ пришлось еще разъ встрѣтиться въ Парижѣ съ Аркадіемъ Николаевичемъ.

Это было поздно вечеромъ. Я возвращался изъ театра по большимъ бульварамъ и столкнулся носъ къ носу съ Орѣшниковымъ, выходящимъ изъ ресторана съ отдѣльными кабинетами подъ руку съ молодой, подмалеванной кокеткой. Онъ былъ веселъ, игривъ и громко смѣялся. Вертявая француженка ласково назвала его «mon petit cochon» и хлопала по животу.

Въ этотъ самый моментъ Аркадій Николаевичъ и увидалъ меня.

Онъ немного смутился и, пожавъ мнѣ руку, конфиденціально проговорилъ:

— Нельзя, знаете-ли, быть въ Парижѣ и... того... Вы смотрите, какъ-нибудь не проговоритесь въ Петербургѣ Наденькѣ. Я вѣдь сказалъ ей, что мы съ вами обѣдаемъ.

— Будьте покойны!—отвѣчалъ я, смѣясь, и прибавилъ:—Ну, по крайней мѣрѣ понравились ли вамъ хоть парижанки?

Онъ добродушно залился веселымъ смѣхомъ и сказалъ:

— Хоть французы и дрянъ народъ, а женщины здѣсь и въ Вѣнѣ...

Онъ не докончилъ фразы, сдѣлалъ выразительный жестъ, причмокнулъ своими толстыми губами и, пославъ мнѣ воздушный поцѣлуй, скрылся съ своей дамой въ каретѣ.

---



СТРАДАЛЕЦЪ.



# Страдалецъ.

---

## I.

Вскорѣ послѣ пріѣзда въ Н., одинъ изъ большихъ городовъ Сибири, въ которомъ мнѣ предстояло пребыть весьма короткое время, я случайно узналъ, что въ Н. живетъ нѣкто Петровскій, старый мой петербургскій знакомый, котораго я давно потерялъ изъ виду, съ тѣхъ поръ, какъ онъ со своей молодой женой уѣхалъ на частную службу на югъ Россіи.

Оказывалось, что этотъ самый Петровскій ужъ года три какъ пріѣхалъ изъ Россіи и занимаетъ здѣсь видное мѣсто въ одномъ изъ страховыхъ обществъ.

Я, разумѣется, обрадовался, что въ незнакомомъ городѣ нашелъ знакомыхъ людей и на другой-же день отправился къ Петровскимъ.

- Барина нѣтъ дома, — объявила горничная.
- Скоро будетъ?
- Они съ вечера уѣхали на охоту.
- А барыня?
- Барыня дома. Пожалуйте!

Въ то время, какъ я проходилъ черезъ залу, неслышно ступая по узкому протянутому ковру, изъ сосѣдней комнаты доносился чей-то необыкновенно мягкій, вкрадчивый мужской голосъ, звучащій грустными нотами. Я отчетливо услышалъ изящно составленную французскую фразу о необходимости терпѣливо нести свой крестъ, въ виду людской несправедливости, и вслѣдъ затѣмъ изъ-за портьеры показалась высокая, худощавая фигура почтеннаго старика, съ слегка опущенной на грудь сѣдой головой, одѣтаго не безъ щегольства и вкуса.

Старикъ бросилъ на меня быстрый взглядъ изъ-подъ очковъ и тихо прошелъ мимо, натягивая на руку шведскую перчатку.

Я любопытно всматривался въ блѣдное, длинное лицо, окаймленное выющимися сѣдинами и маленькой бородкой, и что-то знакомое промелькнуло въ этихъ тонкихъ чертахъ съ заостреннымъ, какъ у хищной птицы, носомъ, въ грустно-насмѣшливой полуулыбкѣ тонкихъ губъ, въ этомъ быстромъ, остромъ взглядѣ, совсѣмъ неподходящемъ къ печальному выраженію физиономіи.



Мнѣ показалось, что я когда-то встрѣчалъ этого господина и совсѣмъ при другой обстановкѣ. Я вошелъ въ гостиную.

Хозяйка сидѣла на диванѣ у стола задумчивая, повидимому, чѣмъ-то разстроенная, и не замѣтила моего прихода. Ея добродушное, румяное лицо, значительно расплывшееся съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались, смотрѣло грустно, и большіе ласковые глаза были влажны.

Я назвалъ ее по имени. Она встрепенулась, тотчасъ-же узнала меня и засыпала вопросами. Скоро ужъ мы, по сибирскому обычаю, сидѣли въ столовой за большимъ самоваромъ. Она ожилилась, спрашивала про Петербургъ, про вѣянія, про общихъ знакомыхъ, рассказывала про свою кочевую жизнь съ мужемъ, жаловалась на отсутствіе людей, на грабежи и убійства, словомъ, повторяла все то, что обыкновенно рассказываютъ про сибирскіе города.

По ея словамъ, они заѣхали сюда только потому, что мужъ соблазнился большимъ жалованьемъ.

— Скопимъ что-нибудь и уѣдемъ отсюда! — заключила Варвара Николаевна.

— Такъ вы, значить, недовольны Сибирью? То-то я засталъ васъ совсѣмъ разстроенной.

— Ну, это совсѣмъ по другой причинѣ... Я только-что выслушала одну печальную исповѣдь...

— Ужь не того-ли стараго господина, котораго я встрѣтилъ сейчасъ въ залѣ?

— Да. Вы знаете-ли, кто это такой?

— Не имѣю чести... Сдается мнѣ, что я его гдѣ-то встрѣчалъ, но гдѣ — не припомню... У него совсѣмъ не провинціальный видъ.

— Навѣрное встрѣчали въ Петербургѣ. Вѣдь это Рудницкій!

— Рудницкій!?

И въ моей памяти воскресъ когда-то извѣстный всему Петербургу знаменитый дѣлецъ и потомъ главный герой скандальнаго процесса о расхищеніи одного солиднаго банка.

— Вотъ ужь никакъ не ожидалъ встрѣтить у васъ эту печальную знаменитость... Постарѣлъ, однако, этотъ баринъ, но обликъ прежняго величія, все-таки, еще сохранился... Не скажите вы его фамиліи, я никакъ-бы не узналъ знаменитаго расхитителя... Но рассказывайте, чѣмъ, однако, растрогалъ васъ этотъ старый грѣшникъ?

— Напрасно вы говорите о немъ въ такомъ тонѣ. Онъ его не заслуживаетъ!—съ упрекомъ остановила меня Варвара Николаевна.

— Почему это?

— А потому, что Рудницкій невинная жертва, пострадавшая за другихъ!—горячо проговорила Петровская.

Я посмотрѣлъ во всѣ глаза на молодую барыню.

— Рудницкій—невинная жертва!? — разсмѣялся я.—Тогда каждый крупный воръ—ангелъ по вашей терминологіи. Да вы читали-ли его процессъ?

— Не читала.

— Прочтите... Любопытно.

— И не буду читать... Я и такъ знаю теперь правду. Прежде и я, какъ вы, была предубѣждена противъ него. Всѣ говорили: расхитилъ банкъ, пустилъ по міру людей... ну, и я повторяла...

— А теперь?

— А теперь я убѣждена, что Рудницкій невиненъ, и жалѣю, что прежде не знала этого...

— Да вы съ нимъ когда-же познакомились?— удивлялся я.

— Года два... Я изрѣдка встрѣчала его у однихъ здѣшнихъ знакомыхъ и, признаюсь, съ удовольствіемъ слушала, какъ онъ говоритъ... Онъ умный и образованный человѣкъ и держитъ себя здѣсь съ большимъ тактомъ, всегда скромно, всегда въ тѣни... Мнѣ только не нравился въ немъ насмѣшливый скептицизмъ, удивляла какая-то странная его злоба къ людямъ, но теперь мнѣ все это понятно... Сперва мы не принимали его у себя—мужъ не хотѣлъ... Но эту Пасху онъ явился съ визитомъ и послѣ былъ раза три...

— И очаровалъ васъ?

— Не иронизируйте, пожалуйста! Повторяю,

что до сегодняшняго дня я относилась къ Рудницкому съ предубѣжденіемъ... Я не знала его, вѣрила молвѣ и была съ нимъ суха... Мужъ, тоже не зная его, не особенно благоволилъ къ нему... Вы понимаете, что бѣдный старикъ, чувствуя наше недовѣріе, бывалъ всегда сдержанъ и о своемъ прошломъ не говорилъ...

— А сегодня, оставшись наединѣ съ такой довѣрчивой барыней, какъ вы, соблаговолилъ удостоить васъ описаніемъ своихъ добродѣтелей? И вы попались на эту удочку?..

— Остановитесь, Оома невѣрный, и устыдитесь вашихъ словъ!.. Если-бъ вы слышали его задушевную исповѣдь, если-бъ видѣли слезы на глазахъ у этого одинокого, всѣми забытаго старика, вы пожалѣли-бы его такъ же, какъ и я, и убѣдились-бы, что передъ вами честный человекъ...

— Пожалѣть, быть можетъ, и пожалѣль-бы, но повѣрить, что онъ невинная жертва, не повѣрилъ-бы... Будьте спокойны!

— Послушайте... Такъ говорить, какъ говорилъ онъ, съ такой дрожью въ голосъ, не могутъ люди виноватые...

— Еще какъ говорятъ...

— И къ чему ему было лгать, подумайте!— горячилась Варвара Николаевна. — Вѣдь я все равно не помогу ему оправдаться передъ всѣми! Имя его обезславлено, жизнь разбита, впереди

мракъ... Что ему за счастье въ томъ, что я убѣждена въ его правотѣ, когда всѣ увѣрены въ противномъ?.. Бѣдный, несчастный человѣкъ! Если-бъ вы знали, сколько онъ перенесъ!

Какъ всѣ женщины, проникнутыя чувствомъ состраданія, Варвара Николаевна готова была теперь произвести чуть-ли не въ мученики этого уголовного героя.

Я зналъ раньше Варвару Николаевну, зналъ ее страсть отыскивать страдалцевъ (преимущественно, впрочемъ, среди людей, болѣе или менѣе прилично одѣтыхъ) и носиться съ ними до перваго разочарованія, и слушалъ, не прерывая, длинный списокъ добродѣтелей господина Рудницкаго, понимая очень хорошо, что гораздо легче войти въ царствіе небесное, чѣмъ разубѣдить женщину, повѣрившую чему-нибудь всѣмъ своимъ сердцемъ.

Надо думать, что Варвара Николаевна замѣтила, наконецъ, что на моей физиономіи не было и тѣни того восторженнаго умиленія, которымъ дышало все ея существо. Вѣроятно, вслѣдствіе того, она вдругъ рѣзко оборвала вводный эпизодъ, повѣствующій о необыкновенной любви господина Рудницкаго къ домашнимъ животнымъ и въ особенности къ пташкамъ (что тоже, по ея мнѣнію, служило вѣскимъ доводомъ въ пользу невиновности Рудницкаго въ ограбленіи банка), и съ сердцемъ сказала:

— Вы, все-таки, не вѣрите?

— Вамъ—безусловно.

— Не мнѣ, а въ невинность бѣднаго старика!

— Ни на полъ-юты, Варвара Николаевна. Въ такихъ дѣлахъ, какъ дѣло вашего новаго «страдальца», судебныя ошибки почти невозможны... Присяжныхъ въ напрасной жестокости еще никто не обвинялъ.

— А я вѣрю, вѣрю, вѣрю!.. капризно прокричала Варвара Николаевна: — и постараюсь убѣдить мужа дать у себя мѣсто невинному старику.

— А развѣ невинный старикъ во время исповѣди и о мѣстечкѣ говорилъ?

— Вовсе нѣтъ... Съ чего это вы взяли? — замѣтила, вдругъ смущаясь, Варвара Николаевна.

— По вашему смущенію вижу, что говорилъ.

— Да нѣтъ-же! Онъ вообще говорилъ, что ищетъ занятій... Вѣдь у этого расхитителя, обокравшаго банкъ, нѣтъ ни гроша за душой! — проговорила Варвара Николаевна, побѣдоносно взглядывая на меня.

— Если это и правда, то ничего еще не доказываетъ... Крохи-то, быть можетъ, и остались... Не въ томъ дѣло, а вы скажите-ка лучше, какое мѣсто вы хотите дать Рудницкому?

Оказалось, что надняхъ уѣзжаетъ помощникъ мужа и очищается мѣсто. Работы немного, жалованья сто рублей въ мѣсяцъ.

— Я такъ была-бы рада, если-бъ Алексѣй пристроилъ старика... Не улыбайтесь ядовито... Лучше прежде познакомьтесь съ Рудницкимъ и тогда, если хотите, опять поговоримъ о немъ... Приходите-ка завтра обѣдать, я позову и Рудницкаго... Хотите?

Я охотно согласился взглянуть поближе на такого знаменитаго человѣка.

— А процессъ его вамъ, все-таки, не мѣшало бы проштудировать! — прибавилъ я, прощаясь съ милѣйшей хозяйкой.

Но она только замахала руками.

## II.

...«Рудницкій!»

Кто изъ петербуржцевъ, лѣтъ десять, двѣнадцать тому назадъ, не видалъ Рудницкаго, или, по крайней мѣрѣ, не зналъ его по имени?

Этотъ дѣлецъ и воротила крупнаго банка, вліятельный гласный въ думѣ, членъ многихъ благотворительныхъ обществъ и видный чиновникъ въ одномъ изъ министерствъ, былъ одно время довольно популяренъ въ Петербургѣ. Его можно было увидать утромъ въ своемъ банкѣ,

между тремя и четырьмя на Невскомъ, въ биржевые дни на биржѣ, а вечеромъ въ первыхъ рядахъ на первыхъ представленіяхъ среди сливокъ петербургскаго общества, — всегда скромнаго, любезнаго, даже искательнаго, съ какой-то загадочной улыбкой на устахъ, всегда свѣжаго, чистенькаго, благоухающаго и одѣтаго съ особымъ солиднымъ шикомъ, по-англійски. Имя его довольно часто мелькало въ газетныхъ отчетахъ о разныхъ засѣданіяхъ, и репортеры нерѣдко прохаживались на его счетъ за его «ретроградныя» поползновенія и особенно за его предложеніе изгнать изъ думы представителей печати.

Онъ говорилъ немало. То говорилъ въ думѣ рѣчь въ защиту какихъ-нибудь сомнительныхъ предложеній, то умилялся на какомъ-нибудь торжественномъ открытіи новаго пріюта, то защищалъ «питательную вѣтку» или «проводилъ» мысль о сліяніи земельныхъ банковъ въ обществѣ содѣйствія промышленности и торговли.

Это былъ видный банкocratъ—одна изъ восходящихъ звѣздъ міра дѣльцовъ, прожектеровъ и пройдохъ. О немъ говорили: одни—какъ объ «умницѣ», ловкомъ, осторожномъ и благоразумномъ дѣльцѣ, другіе—какъ о неразборчивой на средства «шельмѣ», не безъ ума и не безъ образованія, но всѣ соглашались, что эта «ум-



ница» или «шельма» сдѣлаетъ блестящую карьеру и наживетъ большія деньги, не попавъ на цѣпуру. Рассказывали, что онъ умѣлъ очаровывать и безъ мыла влѣзать въ чужую душу, когда требовалось провести какое-нибудь «дѣльце» или привлечь къ сомнительному предпріятію какого-нибудь недовѣрчиваго капиталиста. Въ такихъ случаяхъ «припускали» всегда Николая Степановича Рудницкаго, и онъ «обработывалъ».

Въ мірѣ дѣльцовъ онъ пользовался большимъ уваженіемъ и быстро шелъ въ гору. Начавъ свою карьеру, по выходѣ изъ университета, скромнымъ, незамѣтнымъ чиновникомъ, онъ скоро оставилъ департаментъ и сдѣлался бухгалтеромъ въ банкѣ. Затѣмъ онъ выдвинулся, обративъ на себя вниманіе финансовыми способностями, и черезъ нѣсколько лѣтъ ужъ былъ директоромъ банка. Онъ много работалъ, поднялъ дивиденды банка, устраивалъ ни одну замысловатую комбинацію, мало-по-малу сталъ главнымъ воротилой и шелъ, казалось, вѣрными и твердыми шагами къ блестящей будущности миллионера, какъ вдругъ, въ одно прекрасное утро, въ газетахъ появилось извѣстіе о крахѣ банка, въ которомъ орудовалъ Рудницкій.

Банкъ рухнулъ, и черезъ нѣсколько времени Рудницкій появился на скамьѣ подсудимыхъ въ качествѣ главнаго дѣйствующаго лица.

Обвинительный актъ нарисоваль довольно пикантную картину нравовъ и далъ недурную характеристику главнаго героя. Слушая обвиненіе, вы видѣли, что этотъ умный, пронырливый, безпринципный человѣкъ не рассчиталь всѣхъ шансовъ и, воспользовавшись крупнымъ кушемъ, не замель слѣдовъ, по обстоятельствамъ отъ него не зависящимъ, и потому, только потому, попалъ въ объятія прокурора.

На судѣ онъ велъ себя отвратительно. Озлобленный позоромъ, злой на неудачу, онъ сваливалъ всю вину на своихъ товарищей, невмѣняемыхъ «божьихъ младенцевъ», слѣзо вѣрившихъ во всеъ своему вожаку, и старался разыграть роль невинной жертвы, пострадавшей за свое довѣріе къ людямъ. Какъ затравленный звѣрь, чующій близость гибели, онъ прибѣгалъ къ отчаяннымъ средствамъ: говорилъ чувствительныя тирады о своемъ патріотизмѣ, о святости основъ, имъ почитаемыхъ, и плакалъ, моля о пощадѣ.

Ни трогательныя тирады, ни слезы, ни блестящая по безстыдству рѣчь адвоката не убѣдили присяжныхъ. Улики были вѣски, виновность Рудницкаго не подлежала сомнѣнію, и матерой звѣрь былъ затравленъ. Его осудили.

Въ непрерывной смѣнѣ новыхъ неосторожныхъ грабителей, появлявшихся на скамьѣ подсудимыхъ, о Рудницкомъ скоро забыли.

Имена новыхъ «героевъ» занимали публику. Лишь изрѣдка попадалось въ газетахъ имя Рудницкаго, какъ нарицательное имя.

Все это невольно припомнилось мнѣ, когда на слѣдующій день я шелъ обѣдать къ Петровскимъ.

### III.

Въ то время, когда я знавалъ Петровскаго, это былъ одинъ изъ тѣхъ многочисленныхъ русскихъ интеллигентныхъ людей, къ которымъ, какъ нельзя болѣе, идетъ прозвище: «ни рыба, ни мясо». Онъ былъ не особенно уменъ, но и не глупъ, немножко читалъ, немножко думалъ, особенно твердыхъ принциповъ не имѣлъ, но чтилъ извѣстныя традиціи и слегка либеральничалъ при «закрытыхъ дверяхъ» и главнымъ образомъ стремился къ покою съ приличнымъ окладомъ.

Онъ обрадовался встрѣчѣ, заговорилъ было о прошломъ, но скоро перешелъ къ настоящему. Провинціальная сонная жизнь видимо положила на него свой отпечатокъ.

— Ну, какъ вы меня нашли? Порядочно я оскотинился? — спрашивалъ меня, смѣясь, Пе-

тровскій послѣ первыхъ взаимныхъ разспросовъ.

— Брюшко отростили изрядное...

— Брюшко—это что!.. А я, батюшка, водку нынѣ могу душить въ невѣроятномъ количествѣ, могу до одури играть въ винтъ и по цѣлымъ недѣлямъ ничего не читать... По именинамъ ѣзжу, въ видахъ развлеченія... Ужъ такое здѣсь сонное царство... Все вокругъ располагаетъ къ мирному прозябанію... Да и чего кипятиться-то, какъ подумаешь?

Въ эту минуту въ кабинетъ, гдѣ мы болтали съ Петровскимъ, вошла Варвара Николаевна.

— А что-же твой Рудницкій? Видно, не будетъ?—рѣзко оборвалъ разговоръ Петровскій, взглядывая на часы.

— Еще трехъ часовъ нѣтъ.

— Вотъ, батюшка, — обратился онъ ко мнѣ, указывая движеніемъ головы на жену: — неисправимая идеалистка... Ее никакая провинція не беретъ... Если-бъ не она, такъ я-бы давно совсѣмъ оскотинился. Во все еще вѣрить... Даже въ невинность Рудницкаго вѣрить... Сегодня цѣлое утро приставала ко мнѣ, чтобы я далъ ему мѣсто, и расписывала своего протеже.

— И что-же, убѣдила васъ Варвара Николаевна?

— Ну, убѣдить-то не убѣдила...

— Подожди, ты скоро убѣдишься, что онъ невиненъ...

— На это не надѣйся... Шельма изрядная твой Рудницкій, а мѣсто ему я, пожалуй, и дамъ. Все-жъ-таки онъ умный и дѣловой человѣкъ... Немножко, правда, неловко какъ-то брать къ себѣ такого гуся... Ну, да здѣсь мы неразборчивы... И не такихъ гусей принимаютъ... Денегъ у него на рукахъ не будетъ—слѣдовательно, опасности нѣтъ!—прибавилъ, смѣясь, Петровскій.

— Ахъ, Алеша, какъ тебѣ не стыдно такъ говорить!

— Еще стыднѣе, Варя, обокрасть банкъ. Ну, ну, не буду!—шутливо замѣтилъ Петровскій и прибавилъ:—пойдемте-ка лучше — выпьемъ по рюмкѣ!

Ужъ мы съ хозяиномъ, въ ожиданіи гостя, выпили по двѣ, и ужъ сама Варвара Николаевна начинала беспокоиться, что нѣтъ Рудницкаго, какъ ровно за пять минутъ до трехъ онъ появился на порогѣ гостиной.

Онъ пріостановился на минуту, озирая присутствующихъ, и мягкой, неспѣшной походкой, направился къ хозяйкѣ, распространяя вокругъ себя тонкую душистую струйку.

— Надѣюсь, я не провинился, не опоздалъ?—заговорилъ онъ и какъ-то особенно почтительно и ласково пожалъ руку хозяйкѣ, затѣмъ поздоровался съ Петровскимъ и поклонился мнѣ.

Насъ назвали другъ другу, и мы обмѣнялись рукопожатіями.

Вслѣдъ затѣмъ мы пошли обѣдать, и я не безъ любопытства продолжалъ разсматривать этого знаменитаго «бубноваго туза на покоѣ».

Онъ держалъ себя просто и скромно, съ тактомъ выдавшаго свѣтъ человѣка и производилъ сегодня впечатлѣніе добродушнаго, смирнаго, тихаго старика. Привѣтливая улыбка сіяла на его умномъ, спокойномъ лицѣ съ глубокими бороздами, свидѣтельствовавшими о пережитыхъ буряхъ, и маленькіе сѣрые глазки глядѣли сквозь очки ласково и мягко. Въ его манерахъ, въ выраженіи лица проглядывало спокойное смиреніе человѣка, познавшаго тщету жизни и съ философскимъ достоинствомъ глядящаго на міръ Божій.

Въ началѣ онъ говорилъ мало, очевидно, избѣгая занимать собою общество, и обращался преимущественно къ Варварѣ Николаевнѣ. Когда словоохотливый хозяинъ овладѣвалъ разговоромъ, Рудницкій слушалъ внимательно. Склонивъ чуть-чуть на бокъ голову, онъ тихо покачивалъ ею въ знакъ одобренія, и первый смѣялся его островамъ.

Петровскій то и дѣло подливалъ намъ вина, не забывая, конечно, и себя. Рудницкій былъ воздерженъ, пилъ мало, ссылаясь на слабое свое здоровье, но нѣсколько рюмокъ вина сдѣ-

лали его къ концу обѣда разговорчивѣе. Въ его разговорѣ сразу сказывался умный, бывалый человѣкъ, знающій свѣтъ и людей. Говорилъ онъ недурно, мягкимъ, тихо льющимъ голоскомъ. Замѣчанія его были подчасъ мѣтки и остроумны. Онъ какъ-то ловко и незамѣтно попадалъ въ тонъ собесѣдника и очень тонко льстилъ слегка подвыпившему хозяину. Петровскій видимо добродушнѣе и ласковѣе относился къ Рудницкому послѣ обѣда, и Варвара Николаевна торжествовала.

Когда Петровскій съ Рудницкимъ заговорили о чемъ-то, Варвара Николаевна шепнула мнѣ:

— Ну, что... понравился онъ вамъ?

— Ловкая шельма! — чуть слышно прошептала я въ отвѣтъ.

Она съ нѣмымъ укоромъ взглянула на меня. Я въ эту минуту посмотрѣлъ на Рудницкаго и поймалъ его пытливый, зоркій взглядъ, устремленный на насъ. Въ этомъ взглядѣ не было и слѣда добродушія. Холодный, стальной, онъ точно пронизывалъ.

Рудницкій тотчасъ же отвелъ глаза и продолжалъ съ хозяиномъ бесѣду въ полголоса.

Къ концу вечера Петровскій совсѣмъ былъ очарованъ Рудницкимъ и, отведя меня въ сторону, промолвилъ:

— А вѣдь, кажется, старикъ лучше, чѣмъ я думалъ...

— Понравился?—улыбнулся я.

— Въ немъ больше добродушія, чѣмъ я предполагалъ... И умница.. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, на него нападать... Ну, случился съ нимъ грѣхъ, онъ пострадалъ за него... Что тамъ ни говорите, а жаль старика... Укатали сивку крутыя горки!

— Едва-ли... Пустите-ка этакого козла въ огородъ—онъ вамъ покажетъ!

— Да вы что-жъ это?.. А еще гуманный человѣкъ! Не вѣрите, что ли, въ возможность раскаянія?

— Вѣрю, милѣйшій Алексѣй Петровичъ. Но только кающіеся люди не драпируются въ мантію непонятыхъ страдалцевъ и не плачутъ крокодиловыми слезами!

— А чортъ его знаетъ... Быть можетъ, онъ и въ самомъ дѣлѣ не такъ виноватъ!..

Я только засмѣялся въ отвѣтъ.

#### IV.

Позднимъ вечеромъ мы вышли съ Рудницкимъ отъ Петровскихъ. Узнавъ, что я пойду въ гостинницу пѣшкомъ, Рудницкій предложилъ идти вмѣстѣ.



— Что за чудный вечеръ!—заговорилъ мой спутникъ послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія.— Теплынь, тишина! Невольно вспоминаются инныя страны, инныя небеса... У насъ здѣсь такіе вечера—рѣдкость... Благодать да и только!

Онъ глубоко вздохнулъ полной грудью и поднялъ голову кверху.

— И какъ хорошо сегодня небо! — продолжалъ онъ въ томъ же мечтательномъ тонѣ, растягивая слова. — Полюбуйтесь, какъ ярко свѣтятся звѣздочки! Какъ хороша Венера!..

Я невольно вспомнилъ рассказъ Варвары Николаевны про любовь Рудницкаго къ птичкамъ и спросилъ:

— Вы вѣрно любите природу?

— Люблю ли я природу?—переспросилъ онъ такимъ тономъ, будто даже сомнѣніе въ этомъ было обидой для его чувствительной души. — Да что-жъ и любить-то, какъ не природу, полную великихъ тайнъ... Людей, что ли?—грустно усмѣхнулся онъ,—люди злы и безжалостны... Одна природа безпристрастна и на всѣхъ льетъ свои дары...

Этотъ тонъ въ устахъ Рудницкаго былъ для меня неожиданностью.

Я взглянулъ на него. Онъ шелъ, понуривъ голову, съ видомъ человѣка, подавленнаго думами, и молчалъ.

— Надолго вы въ наши палестины? — спросилъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ... Черезъ три дня уѣду.

— Въ Россію?

— Да, въ Петербургъ...

— Завидую вамъ! — проговорилъ онъ. — Невеселы наши палестины. Не дай Богъ никому попасть сюда... Люди здѣсь грубые, некультурные... Духовные интересы для нихъ непонятны... Здѣсь пьютъ, играютъ въ карты и сплетничаютъ... Человѣку съ высшими потребностями, привыкшему къ иной жизни, къ инымъ нравамъ, тяжело... Вѣрите ли, не съ кѣмъ иногда перемолвиться словомъ.. Вотъ только и отдыхаешь душой у Петровскихъ да еще въ одномъ семействѣ. Славные они оба, эти Петровскіе... Вы давно съ ними знакомы? — прибавилъ Рудницкій.

— Давно...

— Какъ они оба еще сохранили свѣжесть души! — восторженно проговорилъ мой спутникъ, — особенно эта милая Варвара Николаевна!.. Женщины, впрочемъ, вообще лучше нашего брата, — вставилъ Рудницкій. — Не будь здѣсь этихъ двухъ семей — пришлось бы разучиться говорить... Купцы — народъ невозможный... Чиновничество... тоже неособенно симпатично, да и многіе сторонятся отъ людей въ моемъ положеніи... Развлеченій порядочныхъ никакихъ... Отвратительный городъ, от-

вратительная страна! — угрюмо закончилъ Рудницкій.

Онъ выдержалъ паузу и продолжалъ:

— И знать, что вамъ предстоитъ навсегда здѣсь остаться! Навсегда въ этой трущобѣ!.. А, впрочемъ, вѣроятно, ужъ и недолго терпѣть! — грустно усмѣхнулся старикъ, — здоровье мое въ конецъ разстроено... Однако, вотъ и гостинница... Простите, я разболтался... Здѣсь такая рѣдкость встрѣтить свѣжаго человѣка и такъ хочется отвести душу, поговорить... Видно, старческая слабость...

Признаюсь, и мнѣ было любопытно послушать, что будетъ говорить старикъ, и посмотреть, въ какой роли онъ явится передъ «свѣжимъ» человѣкомъ, и я попросилъ его зайти ко мнѣ.

Онъ охотно согласился.

Черезъ нѣсколько минутъ мы сидѣли въ номерѣ за бутылкой краснаго вина, и мнѣ было дано настоящее представленіе съ самымъ неожиданнымъ финаломъ.

## V.

— Да... Одиннадцать лѣтъ, какъ я живу въ этомъ городѣ... Одиннадцать лѣтъ одинокій,

всѣми забытый... Легко сказать: одиннадцать лѣтъ, а каково прожить ихъ?..

Онъ прихлебнулъ вина и промолвилъ съ усмѣшкой:

— И, все-таки, находятъ, вѣроятно, что наказаніе мало для такого... ужаснаго преступника... Для всѣхъ есть милосердіе, а для меня его нѣтъ... Многимъ разрѣшили вернуться... Другіе, видите ли, не столь виновны, а я, видно, въ самомъ дѣлѣ злодѣй!..—прибавилъ онъ и засмѣялся тихимъ, почти беззвучнымъ смѣхомъ.

При этомъ злобное, насмѣшливое выраженіе пронеслось по его блѣдному, худому лицу, засвѣтилось холоднымъ блескомъ въ глазахъ и искривило тонкія, безкровныя губы въ сардоническую улыбку. Что-то непріятное, мефистофелевское было въ этомъ старческомъ лицѣ.

— Вы развѣ хлопотали о возвращеніи?

— Три раза я подавалъ прошенія и всѣ три раза, при самыхъ лучшихъ отзывахъ мѣстной администраціи, и каждый разъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: «Просьба мѣщанина изъ ссыльныхъ Рудницкаго не подлежитъ удовлетворенію»... Я вѣдь нынче имѣю честь носить званіе мѣщанина!—прибавилъ старикъ, — п—скій мѣщанинъ изъ ссыльныхъ... Это звучитъ нѣсколько иначе, чѣмъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, не правда-ли?..

— Но вѣдь вы можете переѣхать въ другой какой-нибудь городъ Сибири.

— Все та же Сибирь! Здѣсь хоть есть давность привычки... Я и просился только ради здоровья... Вѣдь еслибъ мнѣ и можно было уѣхать отсюда, я все равно вездѣ буду отверженцемъ... Вездѣ позоръ... Вездѣ станутъ шептать, указывая на меня: «Это тотъ самый Рудницкій, который ограбилъ банкъ»... И всѣ будутъ злорадствовать, и больше всѣхъ люди, которые, быть можетъ, во сто разъ хуже меня... Это вѣдь обыкновенная исторія на свѣтѣ... Пока успѣхъ на вашей сторонѣ, вамъ готовы простить преступленіе, а чуть паденіе, быть можетъ, и не заслуженное, вызванное не преступленіемъ, а ошибкой, довѣріемъ, пожалуй, и ошибочнымъ, но не преднамѣреннымъ, — подчеркнулъ онъ, — всѣ отвернулись, всѣ забыли, даже самые близкіе когда-то люди...

Рудницкій отпилъ еще глотокъ и продолжалъ:

— И знаете ли, что больше всего возмущаетъ меня при этомъ?

— Что?

— Людское лицемѣріе... Всѣ кричатъ о какой-то общественной совѣсти, о какихъ-то нарушенныхъ правахъ!.. Какая это общественная совѣсть?.. гдѣ она? Ктѣ отказался бы отъ положенія Ротшильда, хотя онъ, съ точки зрѣнія извѣстной

морали, каждый день возмущаетъ общественную совѣсть и нарушаетъ чьи-нибудь права? А между тѣмъ про него не кричатъ, кромѣ горсти безумцевъ, мечтающихъ исправить міръ... Онъ пользуется уваженіемъ; весь свѣтъ у его ногъ... Общественная совѣсть!? — усмѣхнулся злобно старикъ, — да изъ тысячи людей девятьсотъ-девяносто-девять наплевали бы на нее, еслибъ однихъ не удерживалъ страхъ наказанія, другихъ—просто глупость... А вѣдь всѣ кричатъ о совѣсти... О Господи, какъ все это глупо и возмутительно! И послѣ этого развѣ можно не презирать людей!?—патетически воскликнулъ Рудницкій.

Онъ помолчалъ, налилъ себѣ вина и снова заговорилъ.

— Уѣхать!? Куда мнѣ уѣхать?.. Вѣдь у меня, ограбившаго банкъ, нѣтъ состоянія, чтобы замазать рты и заслужить уваженіе... Вы знаете ли, что, пріѣхавъ сюда, я, извѣстный грабитель, не зналъ, на что пообѣдать... Кто этому повѣритъ, не правда ли?—грустно усмѣхнулся Рудницкій.

Когда онъ говорилъ, голосъ его дрожалъ, казалось, искренними нотами. Я слушалъ и недоумѣвалъ. Къ чему эта комедія? Или, въ самомъ дѣлѣ, онъ, съ точки зрѣнія своей своеобразной философіи, считаетъ себя невинной жертвой?

Я молчалъ и ждалъ, что́ будетъ далѣе.

— Я старъ,— снова началъ онъ,— у меня нѣтъ даже надежды поправить свое положеніе, чтобы посмотрѣть, какъ эти самые люди, которые отвернулись отъ меня, снова стануть находить, что я человекъ, обладающій всѣми добродѣтелями... И, каюсь, иногда я жалѣю, что не могу вернуть прежняго положенія... Каюсь, жалѣю и озлобляюсь... Да развѣ можно не озлобиться!?— воскликнулъ онъ съ раздраженіемъ.— Помилуйте... Тутъ всякое терпѣніе лопнетъ!.. Я думалъ: хоть здѣсь-то меня оставятъ въ покоѣ... Такъ нѣтъ... И здѣсь меня преслѣдовали.

— За что?

— А за то, что, два года тому назадъ, здѣсь былъ начальникъ, который имѣлъ доблесть дать мнѣ мѣсто и кусокъ хлѣба... Какъ можно! И поднялся кругомъ вой, пошли сплетни, будто я вліяю, будто играю роль... Появились въ этомъ жанрѣ корреспонденціи въ столичныхъ газетахъ... Вы развѣ не читали?

— Что-то помню...

— Уголовные ссыльные деморализируютъ общество... Отъ нихъ страдаетъ край... И все въ такомъ родѣ... И здѣшняя мерзкая газетка тоже стала таявать... О, это была нескончаемая травля... Эти господа ненавидятъ людей порядочныхъ, благонамѣренныхъ, людей цивилизован-

ныхъ и, главное, приѣзжихъ... У нихъ вѣдь свой патріотизмъ... сибирскій... специфическій, какъ Петрушкинъ запахъ... Они тутъ въ такомъ случаѣ всѣ заодно...

И, точно вспомнивъ испытанныя имъ обиды, онъ началъ бранить Сибирь и сибиряковъ и въ особенности какую-то «шайку мучениковъ идеи» съ необузданной злобой. Онъ не говорилъ, а шипѣлъ съ какимъ-то угрюмымъ ожесточеніемъ завятаго человѣконенавистника. Онъ поносилъ людей, не останавливаясь передъ клеветой, и въ то-же время жаловался, что его не оставляютъ въ покоѣ.

Куда дѣвался добродушный, смиренный «старичекъ», котораго я видѣлъ у Петровскихъ?

— Не удивляйтесь этому раздраженію! — проговорилъ онъ послѣ паузы, наливая новый стаканъ и залпомъ выпивая его. — Я не могу равнодушно говорить, какъ вспомню объ этомъ... Поймите только: одиннадцать лѣтъ тому назадъ, меня позорилъ прокуроръ... почти годъ меня трепали всѣ газеты... Чего только не говорили про меня! Я переносилъ все... Мое имя, наконецъ, забыли... И что же? За то, что мнѣ даютъ кусокъ хлѣба, въ меня снова летятъ комки грязи... Каждый писака, каждый недочившійся молокососъ кричитъ о моемъ прошломъ... И за что же?.. за что?.. Что я имъ сдѣлалъ?



Онъ закрылъ лицо руками и нѣсколько времени молчалъ.

Когда, наконецъ, онъ поднялъ голову, на глазахъ его блестѣли слезы.

— И если-бъ еще я, въ самомъ дѣлѣ, былъ виноватъ, какъ разславили меня на всю Россію... Послушайте... Вы тоже недовѣрчиво отнеслись ко мнѣ... Я замѣтилъ... у Петровскихъ... Но если-бъ вы знали всю правду...

И Рудницкій, начинавшій немного хмѣлѣть, началъ рассказывать мнѣ свое дѣло, «какъ оно было въ дѣйствительности». Изъ его словъ выходило, что его напрасно обвинили, что онъ невиненъ, какъ ангелъ. Онъ, правда, сдѣлалъ ошибку, довѣрился другимъ и... попался, какъ куръ во ши...

Признаюсь, это было ужъ слишкомъ, и я замѣтилъ Рудницкому, что былъ на его процессѣ.

— Изволили быть?—переспросилъ онъ.

— Былъ...

— И, пожалуй, не вѣрите мнѣ? — проговорилъ онъ внезапно измѣнившимся тономъ, съ нескрываемой насмѣшкой.

Я молчалъ.

— Что-жъ вы не говорите?.. Вѣдь вы, кажется, изъ либераловъ? — ядовито усмѣхнулся онъ. — О, я отлично вижу, что не вѣрите... И знаете-ли что? Вѣдь вы, пожалуй, и правы,

что не вѣрите?—вдругъ проговорилъ онъ, понижая голосъ, и засмѣялся своимъ тихимъ, неприятнымъ смѣхомъ. — Ей-Богу, правы, что не вѣрите!..

Я взглянулъ на Рудницкаго. Признаюсь, мнѣ рѣдко приходилось видѣть такое злое, отвратительное лицо. Оно какъ-то все съежилось и улыбалось скверной, циничной, насмѣшливой улыбкой, въ глазахъ сверкалъ злой огонекъ и искривленные губы дрожали.

— Еще бы вѣрить!? Не младенецъ же я былъ въ самомъ дѣлѣ и не дуракъ, мечтавшій объ акридахъ и медѣ, когда ворочалъ банкомъ и пользовался общимъ почетомъ?.. Ха-ха-ха... Я, батюшка, былъ поклонникомъ капиталистическаго строя... Ну, да... Я воспользовался случаемъ сдѣлаться сразу богатымъ, чтобы потомъ еще болѣе разбогатѣть... Извольте слышать?.. Воспользовался! — прошипѣлъ онъ, глядя на меня въ упоръ съ насмѣшливымъ видомъ. — И если-бъ не глупая случайность, я бы теперь былъ не мѣщанинъ изъ ссыльныхъ, а глубокоуважаемый Николай Степанычъ Рудницкій, тайный совѣтникъ и кавалеръ... И всѣ эти господа прокуроры считали-бы за честь у меня обѣдать, и никто не смѣлъ-бы заикнуться объ общественной совѣсти... Совѣсть!.. Это все «слова, слова, слова!», какъ говорилъ Гамлетъ... У всякаго своя совѣсть!.. Но я не рассчиталъ шансовъ и...

тотъ же многоуважаемый Николай Степанычъ внезапно разжалованъ въ малоуважаемые... Казни его за то, что онъ не разсчиталъ... Спасай общество отъ такого вреднаго члена... Ха, ха, ха!.. Да, не разсчиталъ... Дуракъ былъ, оселъ, и наказанъ за это... И, вы думаете, я раскаяваюсь? — прибавилъ онъ съ какимъ-то бѣшенствомъ. — Я злюсь... не оттого... Я злюсь на свою глупость... Ну, вотъ вамъ... Довольны признаніемъ?.. Опишите, если будетъ угодно... Довольно любопытно будетъ прочесть... Такъ не вѣрите?.. Ха-ха-ха... А я думалъ, повѣрите... Надѣюсь, я правъ вашихъ не нарушалъ?.. Вкладовъ у васъ не было въ банкѣ... Или были?.. Ну, въ такомъ случаѣ очень жаль... Весьма жаль... А затѣмъ имѣю честь кланяться... Руки не протягиваю въ видахъ торжества общественной совѣсти... Вотъ, когда буду Ротшильдомъ, тогда милости просимъ... ко мнѣ... Я васъ угощу чуднымъ виномъ, не то, что эта кислятина... Надѣюсь, однако, что у Петровскихъ вы мнѣ не повредите... Не правда-ли?.. Вѣдь тамъ не лежитъ милліона... А вѣдь мнѣ, старику, все-таки, пить и ѣсть надо... Надѣюсь, общественная совѣсть не возбраняетъ...

И съ этими словами Рудницкій ушелъ.

## VI.

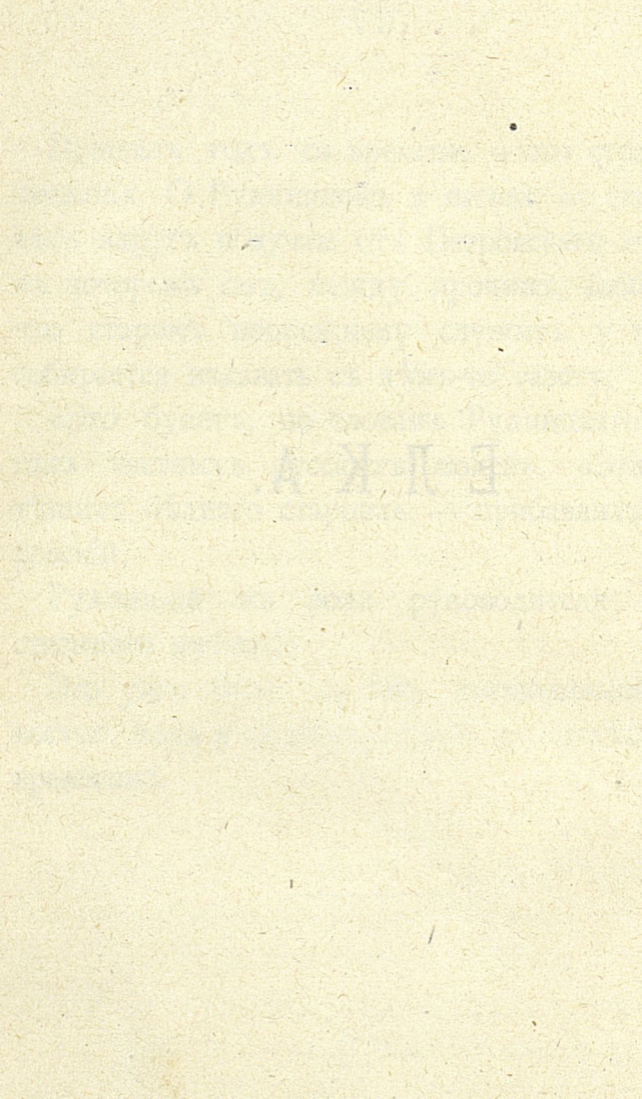
Прошелъ годъ со времени этого страннаго свиданія. О Рудницкомъ я ничего не слыхалъ, какъ вдругъ получаю отъ Петровскаго письмо, въ которомъ онъ, между прочимъ, сообщалъ, что старикъ попрежнему служитъ у него и собирается издавать съ кѣмъ-то газету.

«Это будетъ, по словамъ Рудницкаго, «органъ честныхъ русскихъ людей». «Эта идея тѣшитъ бѣднаго старика», — прибавлялъ Петровскій.

Рудницкій въ роли руководителя общественнаго мнѣнія!?

Это ужъ было совсѣмъ неожиданной новостью, хотя и не невѣроятной по нынѣшнимъ временамъ.

Е Л К А.



# Е л к а.

---

## I.

Въ этотъ по-истинѣ «собачій» вечеръ, наканунѣ сочельника, холодный, съ рѣзкимъ леденящимъ вѣтромъ, торопившимъ людей по домамъ, въ крошечной каморкѣ одной изъ петербургскихъ трущобныхъ квартиръ подвального этажа, сырой и зловонной, съ заплесневѣвшими стѣнами и щелистымъ поломъ, мирно и благодушно бесѣдовали два обитателя этой каморки, попивая изъ кружекъ чай и закусывая его ситникомъ.

Эти двое людей, чувствовавшіе себя въ относительномъ теплѣ своего убогаго помѣщенія, повидимому, весьма недурно, были: извѣстный трущобнымъ обитателямъ подъ кличкой «маіора» (хотя «маіоръ» никогда въ военной службѣ не

служиль) пожилой человекъ трудно опредѣлимыхъ лѣтъ, съ одутловатымъ, испитымъ лицомъ, выбритымъ на щекахъ, съ небольшой, когда-то рыжей эспаньолкой, короткой сѣдой щетиной на продолговатой головѣ и съ парой юркихъ сѣрыхъ глазъ, глядѣвшихъ изъ подъ нависшихъ, взъерошенныхъ бровей, и приемышь-товарищъ «маіора», худенькій, тщедушный мальчуганъ лѣтъ восьми—девяти съ блѣднымъ личикомъ, бѣлокурыми волосами и оживленными черными глазами.

Мальчикъ только-что вернулся съ «работы», прозябшій и голодный, и, утоливъ свой голодъ горячими щами и отогрѣвшись, рассказывалъ маіору о тѣхъ диковинахъ, которыя онъ видѣлъ въ окнахъ магазиновъ на Невскомъ, куда онъ ходилъ сегодня, по случаю ревматизма, одолѣващаго «маіора», надоѣдать прохожимъ своимъ визгливымъ, искусственно-жалобнымъ голоскомъ: «Миленькій баринъ! Подайте мальчику на хлѣбъ! Миленькая барынька! Подайте милостинку бѣдному мальчику!»

Маіоръ съ сосредоточеннымъ вниманіемъ слушалъ оживленный рассказъ мальчика, переполненнаго впечатлѣніями, и по временамъ ласково улыбался, взглядывая на своего сожителя съ трогательной нѣжностью, казавшейся нѣсколько странной для суровой по внѣшнему виду наружности маіора.



— Такъ ты, братецъ, находишь, что эта елка очень хорошая? — спрашивалъ маіоръ своимъ сиплымъ, надтреснувшимъ баскомъ, наливая мальчику новую кружку чая.

— Страсть какая хорошая, дяденька! — съ восторгомъ воскликнулъ мальчикъ и лѣниво отхлебнулъ чай.

— Какая-же она такая? Рассказывай!

— Большущая... а подъ ей старикъ весь бѣлый, пребѣлый съ длинной бородой... а на елкѣ-то, дяденька, видимо невидимо всякихъ штук-чекъ... И яблоки... и апельсины... и фигуры... И вся-то она горитъ... свѣчей много... И все вертится... Я такъ заглядѣлся на нее, что чуть-было чорта-фараона не прозѣвалъ... Однако, небойсь, во-время далъ тягу! — съ веселымъ смѣхомъ прибавилъ мальчикъ и плутовато сверкнулъ глазами.

— А зазябъ очень?..

— Зябко было... Главная причина: вѣтеръ! — проговорилъ, напуская на себя серьезный, дѣловитый видъ, мальчуганъ съ черными глазами. А то-бы ничего... Два раза бѣгалъ чай пить... Да работа была неважная... всего тридцать копѣекъ насобралъ... Погода!.. Вотъ, что завтра Богъ дастъ!

— Завтра ты не ходи! — послѣ минутнаго раздумья сказалъ маіоръ. — Завтра я выйду на работу!

Это извѣстіе, повидимому, не особенно обрадовало мальчика, и онъ замѣтилъ:

— Да вѣдь ты нездоровъ, дяденька.

— За ночь нога отойдетъ. А ты не ходи!— внушительно повторилъ маіоръ. — Нечего шататься, да и заболѣть по этой погодѣ недолго. Ты вѣдь у меня дохленькій!— прибавилъ маіоръ. И то сегодня въ своей кацавейкѣ, небойсь, попрыгалъ... Никакъ ужъ простудился?

И съ этими словами маіоръ, одѣтый въ какую-то обтрепанную хламиду, замѣнявшую халатъ и покрывавшую его бурое голое дѣло, поднялся съ табурета и приложилъ свою вздрагивавшую, грязную, но маленькую, видимо дворянскую руку къ головѣ возбужденнаго и покраснѣвшаго мальчика.

— Ишь... горячая! — сердито проворчалъ маіоръ и спросилъ:— Болитъ?

— Не болитъ!

— И нигдѣ не болитъ? Смотри, Одея, говори правду.

— Вотъ-те крестъ, нигдѣ не болитъ! Только будто жарко немного.

— А ты спать ложись. Я тебя укрою. Выспишься и ладно будетъ!

Мальчикъ послушался и, снявъ съ себя навернутое тряпье, легъ на постель, устроенную изъ пустого большого ящика, поверхъ котораго лежалъ соломенный тюфякъ. Маіоръ заботливо

укрылъ ребенка рванымъ одѣяломъ и своимъ такъ-называемымъ «пальто», изображавшимъ собой нѣчто рыжее, неизвѣстно какой матеріи.

— Ну спи, спи теперь.

— А ты?

— И я скоро лягу.

Нѣсколько минутъ въ маленькой каморкѣ, освѣщенной скупымъ свѣтомъ небольшой лампочки, царила тишина. Маіоръ сидѣлъ на своемъ табуретѣ у кривоногого стола, погруженный въ какія-то думы.

Товарищу его не спалось. Голова его полна была впечатлѣніями сегодняшняго дня, и онъ проговорилъ:

— Дяденька!

— Что тебѣ?

— А должно быть такая елка дѣрого стоить?

— А ты думалъ дешево? — усмѣхнулся маіоръ.

— То-то я и говорю. Поди рублей десять.

Маіоръ вмѣсто отвѣта протяжно свиснулъ.

— Двадцать, что-ли?

— И сто платятъ.

— Ишь ты. Богатые покупаютъ?

— Да, братъ. Намъ съ тобой такой елки не купить. А ты спи лучше!

— Не хоцца, дяденька...

— А ты все спи.

Мальчуганъ замолкъ и вздохнулъ.

Тѣмъ временемъ маіоръ сталъ считать неболь- шую кучку мѣдныхъ денегъ, лежащую на столѣ. Оказалось всего сорокъ двѣ копѣйки. Маіоръ задумчиво покачалъ головой и тоже вздохнулъ.

— А у тебя была елка, когда ты былъ ма- ленькій?— снова заговорилъ мальчикъ.

Этотъ неожиданный вопросъ повидимому воз- будилъ въ маіорѣ кучу воспоминаній изъ да- лекаго прошлаго, представлявшаго такой рѣзкій контрастъ съ настоящимъ. Счастлирое дѣтство пронеслось передъ нимъ какимъ-то свѣтлымъ, радостнымъ призракомъ и потонуло во мракѣ позднѣйшихъ лѣтъ постепеннаго паденія, во- ровства, пьянства и нищеты.

И онъ раздумчиво отвѣтилъ.

— Была.

— Каждое Рождество была?

— Да... Въ Сочельникъ всегда была...

— И хорошая?

— Чудесная... въ родѣ той, какую ты се- годня видѣлъ...

И маіоръ, невольно увлеченный нахлынув- шими воспоминаніями, сталъ подробно расска- зывать, какія у него бывали елки, и какъ онъ, одѣтый въ шелковую красную рубашку, тан- цовалъ и веселился вмѣстѣ съ другими дѣтьми, такими-же нарядными, и сколько было на елкѣ игрушекъ, фруктовъ и конфетъ, и какъ ихъ раздавала его мать, красивая, статная барыня...

Мальчикъ слушалъ, какъ очарованный, словно сказку, этотъ рассказъ, наполовину правдивый, наполовину прикрашенный фантазіей павшаго человѣка, желавшаго освѣтить лучезарнымъ блескомъ хоть далекое прошлое.

И когда маіоръ замолкъ, мальчикъ нѣсколько минутъ спустя спросилъ:

— Это ты, дяденька, все навралъ? У тебя такихъ елокъ не было?

— Были!..—отвѣтилъ маіоръ.

— Ну? — съ сомнѣніемъ протянулъ мальчикъ.

Маіоръ понялъ, почему сомнѣвался его товарищъ, и пояснилъ:

— Прежде я, Оедя, богатый былъ...

— Ишь ты... А теперь, значитъ, нищій!— недоумѣвалъ мальчикъ и вдругъ грустно проговорилъ: А у меня такъ никогда елки не было!

— А ты хотѣлъ-бы елку?

— А то нѣтъ?

— Такъ можетъ и у тебя будетъ елка!— рѣшительно произнесъ маіоръ, и его сиплый басокъ зазвучалъ нѣжностью.

Въ отвѣтъ на это мальчикъ недовѣрчиво усмѣхнулся, словно-бы хотѣлъ сказать своему старому сожителю: «Ври, дяденька, больше!»

— Однако довольно-то намъ языки чесать. Давай лучше, братецъ, спать.

И, потушивъ лампочку, маіоръ улегся на свою убогую койку, прикрывшись всѣмъ своимъ гардеробомъ.

Въ скоромъ времени мальчикъ заснулъ, и громкое его дыханіе раздавалось среди тишины. Но маіоръ долго еще кряхтѣлъ и ворочался на жесткомъ ложѣ. Мысль объ елкѣ для этого бездомнаго сироты, скрасившаго печальные дни горемычной жизни маіора, гвоздемъ засѣла въ его головѣ. Не даромъ-же онъ, старый пропойца, такъ привязался къ маленькому существу и излилъ на него всю любовь своего сердца. Не даромъ-же онъ сталъ менѣе пить съ тѣхъ поръ, какъ этотъ сирота былъ взятъ имъ отъ пьяной, развратной бабы, тетки мальчика, которая его била и съ охотой отдала маіору. И мальчикъ скоро полюбилъ своего добраго товарища и пѣстуна, никогда не обижавшаго своего «дохленькаго» маленькаго пріемыша...

Разные планы о томъ, какъ добыть рубля два—три, чтобы устроить завтра елку, бродили въ головѣ маіора и казались несбыточными. Надежды на его засаленное прошеніе, съ которымъ онъ ходилъ иногда по домамъ и въ которомъ изъяснялись бѣды престарѣлаго маіора, отца многочисленнаго семейства, раненаго на войнѣ, казались слишкомъ рискованными, въ виду скептицизма петербуржцевъ, безсердечія

швейцаровъ, торчащихъ передъ праздниками у дверей, и въ виду собственной его, далеко не респектабельной наружности, въ особенности его сизо-багроваго мясистаго носа, не внушавшаго большого довѣрія... А эти уличныя подачки слишкомъ малы, чтобы набрать такую сумму, какая требовалась.

Но чѣмъ болѣе казались недостижимыми мечты маіора объ елкѣ, тѣмъ сильнѣе загоралось желаніе осуществить ихъ и доставить радостный сюрпризъ единственному въ міру существу, привязанному къ нему, давно всѣми забытому и презираемому.

И маіоръ заснулъ, наконецъ, беспокойнымъ, тяжелымъ сномъ, но полный рѣшимости, словно Наполеонъ передъ Бородинской битвой.

## II.

Собрался онъ въ походъ рано утромъ, когда его маленькій товарищъ еще сладко спалъ. Передъ тѣмъ маіоръ, при свѣтѣ лампочки, привелъ свою фізіономію въ возможно приличное состояніе, закрутилъ усы по-военному и преобразился въ раненаго, т. е. подогнулъ колѣно и

привязалъ его къ деревяшкѣ. Послѣ того онъ осторожно снялъ съ мальчика свое пальто, накрывъ спящаго халатомъ, натянулъ пальто сверхъ дырявой жилетки, прикрывавшей голую грудь, повязалъ шею большимъ шерстянымъ шарфомъ и надѣлъ картузь съ большимъ козыремъ. Въ общемъ получался военный видъ, что и дало бывшему когда-то чиновнику кличку «маіора»...

Квартирная хозяйка, бойкая вдова городского, уже возилась у плиты, когда въ кухнѣ появился маіоръ.

— Что такъ рано, маіоръ?—спросила она.

— Сами знаете... праздники!.. сосредоточенно и серьезно отвѣтилъ маіоръ, прикладываясь къ козырьку и уже входя въ роль военного человѣка. — Да и привыкъ на службѣ-то рано вставать. Служба царская, сами понимаете!

Онъ вручилъ хозяйкѣ пятнадцать копѣекъ и, наказавъ купить ситника къ чаю и накормить обѣдомъ мальчугана, попросилъ передать ему, чтобы онъ не выходилъ никуда изъ дому, пока маіоръ не вернется, и вообще присмотрѣть за мальчикомъ, если онъ сдѣлается нездоровъ.

— И то вчера прозябъ! — прибавилъ онъ и, галантно приложившись къ козырьку картуза, вышелъ вонъ.

Утро стояло морозное, такое-же вѣтряное, какъ вчера, и прохватывало маіора. Но онъ, казалось, не обращалъ на это вниманія и твер-



дыми, бодрыми шагами, серьезный и рѣшительный, шелъ по направленію къ кабаку, гдѣ былъ завсегдатаемъ. Войдя туда, онъ молча раскланялся съ заспаннымъ сидѣльцемъ, выпилъ стаканчикъ водки, крикнулъ и конфиденціально шепнулъ ему:

— А я къ вамъ, Иванъ Филиппычъ, сегодня съ маленькой просьбой.

— Какая-же будетъ ваша просьба, маіоръ?— отвѣчалъ краснощекій ярославецъ.

— Тутъ есть одно обстоятельство... Мнѣ бы рубликъ въ долгъ... дней на пятокъ... Вѣрьте...

— Ну ужъ это извините, маіоръ... Насчетъ напитку, сами знаете, я вамъ завсегда оказываю кредитъ, а чтобы деньгами... Ужъ не прогнѣвайтесь, майоръ... Небойсь, сегодня вы и больше рубля насбираете.

Маіоръ молча приложился къ козырьку и вышелъ на улицу.

Сперва онъ обходилъ лавки и собиралъ копѣйки. Много обошелъ онъ такимъ образомъ лавокъ и насбиралъ копѣекъ сорокъ. А морозъ крѣпчалъ, и маіору становилось жутко отъ холода. Надо было обогрѣться, и къ полудню онъ зашелъ въ закусочную, выпилъ еще стаканчикъ, съѣлъ порцію селянки, приготовленной Богъ вѣсть изъ какихъ отбросовъ, и, обогрѣвшись, снова вышелъ на улицу, рассчитывая «рабо-

тать» теперь, обращаясь къ проходящимъ, и при удобномъ случаѣ заходить въ квартиры.

Маіоръ благоразумно избѣгалъ очень бойкихъ улицъ и шатался болѣе по улицамъ глухимъ, гдѣ не бывало городскихъ. Завидя какую-нибудь даму, маіоръ не безъ достоинства прикладывалъ руку къ козырьку и тихо, словно желая сообщить какой-нибудь секретъ, говорилъ: «Отставному военному, мадамъ. Не откажите?»

Но дамы по большей части пугливо прибавляли шаги и озирались: нѣтъ-ли по-близости городского. Что-же касается до мужчинъ, то они какъ-то безучастно внимали и русскимъ, и французскимъ фразамъ майора, и трагическимъ и комическимъ его обращеніямъ. Такимъ образомъ, пробродивъ часа два, бѣдный маіоръ собралъ еще всего двадцать копѣекъ, поданныхъ ему одною купчихой и какимъ-то подвыпившимъ господиномъ, котораго маіоръ абординировалъ фразой: «на сорокоушку, s'il vous plaît?», что, видимо, очень понравилось веселому господину, давшему маіору цѣлый гривенникъ. Вообще «работа» шла плохо. Погода стояла дьявольская, и некогда было подавать милостыню.

Маіоръ начиналъ снова зябнуть и падать духомъ при мысли объ елкѣ. Онъ пробовалъ было обращаться къ швейцарамъ, чтобы его пустили подать прошеніе, но швейцары не пускали и посмѣивались и надъ его костюмомъ

и надъ его серьезнымъ видомъ, полнымъ чувства собственнаго достоинства.

Тѣмъ не менѣе маіору удалось-таки проникнуть во дворъ одного большаго роскошнаго дома, минуя дворниковъ, прочитавъ на доскѣ фамиліи жильцовъ, войти съ чернаго хода въ большую, свѣтлую, теплую кухню и, поклонившись дебелой, краснощекой «кухаркѣ за повара» самымъ любезнымъ манеромъ,—сказать съ изысканною вѣжливостью, стараясь придать своему сиплону баску возможно нѣжное выраженіе:

— Осмѣлюсь, мадамъ, обезпокоить васъ вопросомъ: генеральша Тонкоусова изволитъ быть дома?

Несмотря на столь любезное обращеніе, «кухарка за повара», быстро оглядѣвъ и костюмъ и фізіономію неожиданнаго посѣтителя, весьма сухо спросила:

— А вамъ зачѣмъ нужно генеральшу? По какимъ такимъ дѣламъ?

— По своимъ собственнымъ, къ прискорбію... По семейнымъ дѣламъ... Я имѣлъ честь прежде служить подъ начальствомъ генерала и потому осмѣлился... Не извольте, мадамъ, сомнѣваться! Я... отставной офицеръ... маіоръ отъ арміи... раненъ пулей въ ногу... Болѣзнь довела меня до несчастія... Пятеро дѣтей... послѣдній малютка... Не откажите подать генеральшѣ это свидѣтельство...

И съ этими словами, кинувъ на кухарку быстрый взглядъ, словно-бы испытующей степень произведеннаго впечатлѣнія, маіоръ вытащилъ изъ-за пазухи засаленное прошеніе, въ которомъ собственноручно изложилъ свои боевыя заслуги, надѣливъ себя многочисленнымъ семействомъ, и протянулъ бумагу къ кухаркѣ, видимо нѣсколько смягчившейся послѣ красно-рѣчія маіора.

— Напрасно только докладывать! — проговорила она. — Наша генеральша безъ рекомендаціи никому не подаетъ.

Маіоръ не безъ трагизма указаль правой рукой на свою деревяшку и произнесъ съ горькой усмѣшкой:

— А это развѣ не рекомендація?

И, выдержавъ паузу, прибавилъ:

— Доложите, мадамъ, будьте снисходительны къ несчастному маіору. Быть можетъ, генеральша соблаговолить пожаловать рубликомъ...

— Ни за что! Она у насъ карахтерная и чистый скаредъ! — съ внезапнымъ раздраженіемъ отвѣтила кухарка. — Много, много двугривенный дастъ и то врядъ-ли. Вы подождите. Вотъ придетъ лакей. Онъ доложитъ...

Маіоръ снова упаль духомъ и думаль ужь уходить пытатъ счастья въ слѣдующемъ этажѣ, какъ вдругъ быстрый его взглядъ замѣтилъ, что въ жестяной лоханкѣ, совсѣмъ близко отъ

него, лежить цѣлая куча серебряныхъ ложекъ, ножей и вилокъ, предназначенныхъ для мытья. И внезапная мысль осѣнила маіора.

«Двѣ ложки совсѣмъ-бы устроили его дѣло. Сбыть ихъ можно за два рубля, и елка готова!» — пронеслось въ его головѣ съ быстротой молніи въ то время, какъ онъ въ мрачной позѣ трагическаго актера едва замѣтно подвигался къ соблазнительной лоханкѣ. Онъ испытывалъ и страхъ неудачи и сладкое волненіе при мысли о радости мальчугана и зорко наблюдалъ за кухаркой.

Прошла минута, другая, третья. Кухарка отвернулась. Маіоръ въ это мгновеніе страшно закашлялся, и пара ложекъ была уже у него за пазухой, а самъ онъ въ почтительномъ отдаленіи отъ лоханки все въ той же трагической позѣ.

Все обошлось благополучно. Кухарка ничего не замѣтила.

— Простите, мадамъ, еще слово: Быть можетъ, лакей не скоро придетъ? — освѣдомился, наконецъ, маіоръ.

— Вѣрно гости. Онъ и торчитъ тамъ...

— Въ такомъ разѣ ужъ лучше я завтра, съ вашего позволенія, приду, а сегодня въ другіе дома навѣдаюсь... Позвольте васъ чувствительно поблагодарить за готовность и пожелать вамъ всего хорошаго въ жизни. Adieu!

Раскланявшись еще съ бѣльшей любезностью, маіоръ, надѣвъ картузь, вышелъ изъ кухни и не безъ нѣкоторой тревоги прошелъ дворъ. Выйдя за ворота, онъ торопливо зашагалъ вдоль улицы и, только очутившись на значительномъ разстояніи отъ большого дома, облегченно и радостно вздохнулъ, съ торжествомъ побѣдителя нащупывая въ карманѣ будущую елку.

### III.

Въ седьмомъ часу маіоръ вернулся въ свою трущобу озябшій, слегка выпившій и радостно взволнованный. На плечѣ у него была небольшая елочка, съ красными бумажными обручами и розанами, а въ большой сумѣ, подшитой подъ пальто, лежало нѣсколько свертковъ и полштофъ водки.

При видѣ маіора съ елкой, квартирная хозяйка разинула ротъ—до того это было неожиданно и ни съ чѣмъ несообразно. Она впрочемъ любезно разрѣшила маіору убрать елку въ своей комнатѣ, чтобъ порадовать мальчика ноожиданностью.

— Кстати онъ и спить!—сказала она и прибавила: — Ишь вѣдь выдумали! Видно, маіоръ, сегодня хорошо работали?

— Ничего себѣ... недурно! не безъ гордости отвѣчалъ маіоръ, вынимая свертки.

И вслѣдъ затѣмъ онъ приступилъ къ уборкѣ елки. Дѣлалъ онъ это съ самымъ серіознымъ и торжественнымъ видомъ, весь погруженный въ свое занятіе. Хозяйка помогала ему, перевязывая нитками разныя вкусныя вещи, которыя маіоръ развѣшивалъ самъ, стараясь придать елкѣ пышный и элегантный видъ.

— Ай да маіоръ! Сколько накупилъ! удивленно восклицала по временамъ хозяйка.

— Нельзя... Ужъ елка, такъ елка! весело замѣчалъ маіоръ, не отрываясь отъ работы.

Наконецъ, елка была убрана, и свѣчи укрѣплены. Маіоръ обошелъ елку со всѣхъ сторонъ и, видимо, остался доволенъ.

— Вѣдь хороша, Матрена Ивановна?

— Ужъ на что лучше, маіоръ. Хоть бы генеральскому сыну! одобрила хозяйка.

Маіоръ зажегъ свѣчи и осторожно внесъ елку въ маленькую свою коморку. Слѣдомъ за нимъ квартирная хозяйка несла водку, колбасу, кусокъ ветчины и булки и все это разставила на маленькомъ трехногомъ столѣ, составлявшемъ главную мебель маіорскаго помѣщенія.

— Оедя... вставай, братецъ! будилъ маіоръ своего товарища.

Ослѣпленный свѣтомъ, мальчикъ всталъ и, протирая глаза, изумленный смотрѣлъ на ма-

ленькую елочку, горѣвшую огнями и убранную десяткомъ яблоковъ, копѣчными пряниками, мармеладомъ, золотыми орѣхами и разными дешевыми украшеніями.

Мальчику казалось, что онъ во снѣ, и онъ стоялъ около елки, словно очарованный, не смѣя къ ней подойти.

Маіоръ любовался и восхищеніемъ мальчика, и произведеніемъ своихъ рукъ.

— Я обѣщаль тебѣ елку, Одея... Ну вотъ она и есть! проговорилъ радостно маіоръ, и въ голосъ его звучала безконечная нѣжность...

Мальчикъ пришелъ въ неописанный восторгъ. Приблизившись къ елкѣ, онъ жадными блестящими глазенками оглядывалъ ее во всѣхъ подробностяхъ.

— Да ты ѣшь, Одея... Что хочешь ѣшь... Все—твое! говорилъ маіоръ, поднося Матренѣ Ивановнѣ стаканчикъ.

Мальчикъ не заставилъ себя просить и сталъ уписывать за обѣ щеки и сладости, и ветчину, и колбасу, не особенно заботясь о послѣдовательности.

Въ меньшемъ восторгѣ былъ и маіоръ. Онъ довольно скоро роспилъ съ Матреной Ивановной полштофъ и любовно поглядывалъ и на своего товарища и на елочку, освѣтившую радостнымъ свѣтомъ ихъ убогую коморку и горемычную жизнь.



ДЯДЕНЬКА  
ПРОТАСЪ ИВАНОВИЧЪ.

(Изъ прошлаго).



## Дяденька Протасъ Ивановичъ.

### I.

Не онъ-ли, Протасъ Ивановичъ, пользовавшійся въ Коломнѣ и на Пескахъ, гдѣ живутъ многочисленные его родственники, репутаціей человѣка геніальнаго ума («готовился въ ветеринары, а куда метнулъ!» прибавляли обыкновенно при этомъ), не стѣснявшася по-просту говорить «правду-матку» въ глаза непосредственному своему начальству,—не онъ-ли, бывало, торжественно восклицалъ, бія увѣсистымъ кулакомъ по своей широчайшей груди:

— У меня хищеніе!? Я давно искоренилъ хищеніе. У меня строгій порядокъ... Чиновникъ у меня—вѣрный, добрый, безсребренный чиновникъ... У меня...

И, не находя болѣе словъ, подъ бременемъ охватывавшихъ его благородныхъ чувствъ, дя-

денька Протасъ Ивановичъ обыкновенно схватывалъ меня за руку и подводилъ къ стѣнѣ кабинета, которая сплошь была увѣшана различными картами и таблицами.

— Смотри, скептикъ!.. Видишь? У меня тутъ все, какъ на ладонѣ! Весь механизмъ администраціи въ графическомъ изображеніи. Отсюда я все вижу и все знаю...

Я обыкновенно смотрѣлъ на эти красиво раскрашенные карты и таблицы, пестрѣвшія красными, синими, зелеными и черными кружками, линиями и черточками, противъ которыхъ стояли красиво выведенныя цифры,—и восхищался.

— Дѣйствительно, дяденька... Превосходныя таблицы!

— То-то! На нихъ все показано... все до малѣйшей подробности...

— Вѣрны-ли онѣ?

— Я, братецъ, два года этимъ занимался... Двѣнадцать чиновниковъ работали надъ ними...

— Положимъ, дяденька, по этимъ таблицамъ вы можете представлять себѣ...

— Не представлять, а знать! рѣзко перебивалъ Протасъ Ивановичъ.

— Но есть-ли у васъ діаграма нравственныхъ качествъ вашихъ подчиненныхъ?..

Дяденька, питавшій необычайную слабость къ всевозможнымъ статистическимъ таблицамъ и

графическимъ изображеніямъ, на минуту былъ озадаченъ моимъ вопросомъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, не даль-ли онъ маху? Почему у него нѣтъ такой таблицы?» говорило, казалось, его широкое, скуластое лицо, на которомъ блестѣли маленькіе глазки. Мысль эта, повидимому, очень заинтересовала его, и геніальная голова уже разрабатывала ее съ быстротой, обычной въ характерѣ Протаса Ивановича Мордасова.

Не даромъ онъ часто говорилъ: «Во всемъ нужны, братецъ, быстрота и русская сметка... Русскій человѣкъ всякое дѣло обмозгуетъ. Вотъ я по ветеринаріи курсъ кончилъ, а слава Богу... Да назначь меня хоть адмираломъ... не бойсь, не ударю лицомъ въ грязь... Главное: здравый смыслъ!»

— Такой таблички у меня, по правдѣ сказать, нѣтъ! отвѣтилъ, наконецъ, дяденька и даже нѣсколько сконфузился, — но ты мнѣ подалъ мысль... Я прикажу составить такую... Какъ ты назвалъ?

— Диаграмма...

— Да, діаграмму... Завтра же велю сдѣлать. Это, въ самомъ дѣлѣ, очень просто и удобно... Вмѣсто того, чтобы справляться въ списокѣ о чиновникахъ, я сейчасъ-же взгляну на таблицу и... шабашъ! Вполнѣ благонадежный чиновникъ будетъ обозначенъ лиловымъ кружкомъ, просто

благонадежный — синимъ, а внушающій опасенія — чернымъ... Это, братецъ, отлично!..

Черезъ два дня въ кабинетъ прибавилась новая таблица, и дядя ликовалъ. Показывая мнѣ ее, онъ, впрочемъ, замѣтилъ:

— Конечно, табличка облегчаетъ справки, но я и безъ нея отлично знаю, каковы у меня подчиненные... Превосходно знаю. Выборъ у насъ не то, что въ другихъ мѣстахъ. Я сперва выисповѣдаю человѣка, и какъ онъ уйдетъ отъ меня, я его насквозь понимаю... Конечно, кое-какія злоупотребленія могутъ быть — тутъ никто ничего не подѣлаетъ — но чтобы хищеніе, систематическое хищеніе... никогда!

— Трудно, дяденька, ручаться по нонѣшнимъ временамъ.

— Зарядилъ: трудно... Я и жалованье прибавилъ и, наконецъ, у меня знаютъ какъ я на хищеніе смотрю... Хищникъ у меня, братецъ, держись только... Ты вѣрно не читалъ моихъ циркуляровъ? Нѣкоторые изъ нихъ въ газетахъ даже были напечатаны, какъ образецъ... Прочитай-ка да и говори потомъ...

И дяденька далъ мнѣ довольно большой томикъ приказовъ и циркуляровъ, въ которыхъ увѣщательныхъ и грозныхъ посланій насчетъ хищенія было не мало. Въ одномъ изъ такихъ посланій, между прочимъ, говорилось: «Хищеніе будетъ мною преслѣдоваться по всей стро-

гости законовъ. Все можно извинить, но хищенія никогда. Хищеніе это язва, разъѣдающая нашъ организмъ; я надѣюсь, что нашъ округъ останется чистъ отъ какихъ-бы то ни было нареканій въ лихоимствѣ» и т. д. Въ посланіи, появившемся вслѣдъ за назначеніемъ Протаса Ивановича на мѣсто, было изображено: «Я считаю долгомъ объясниться коротко и ясно. Я простой русскій человѣкъ и изворотовъ не люблю. Безкорыстіе, правдивость и трудолюбіе—вотъ главнѣйшія качества, составляющія украшеніе человѣка, а тѣмъ болѣе чиновника. Съ ними всякій можетъ смѣло разсчитывать на меня. Я жажду правды, одной правды и ничего болѣе! Пусть каждый смотритъ на меня не какъ на начальника, а какъ на старшаго товарища, и по-просту, по-русски, говоритъ въ глаза «правду-матку»... Но да трепещетъ лихоимецъ, если только таковой скрывается между нами. Пусть лучше онъ заранѣе бросаетъ службу,—иначе его ждетъ немилосердная кара. Съ хищниками я буду безпощаденъ. Ни слезы, ни раскаяніе, ни многочисленное семейство, —ничто не остановитъ меня... Каждая неправильно стяжанная у казны копейка есть преступленіе, ничѣмъ не оправдываемое».

Въ Коломнѣ и на Пескахъ эти посланія нерѣдко читались вмѣсто посланій святыхъ апостоловъ, на сонъ грядущій, и произво-

дили не малую сенсацію среди безчисленной родни Протаса Ивановича.

— Протась-то Ивановичъ, каковъ! Готовился въ ветеринары, а теперь... поди ты!

— Умъ, умъ-то какой!.. А вѣдь обучался на мѣдныя деньги!

— И правду-то какъ любить! Намедни, слышалъ?.. Приѣхалъ онъ въ Петербургъ, и явился къ князю Остроленкову. Ну тамъ, разумѣется, все по этикету, у князя-то, какъ слѣдуетъ въ высшемъ обществѣ, а нашъ-то простецъ этого не любитъ... Князь спрашиваетъ о чемъ-то дядинькинаго мнѣнія, а онъ-то, нашъ Протась Иванычъ, на чистоту: «Извините, говоритъ, ваше сіятельство, я, говоритъ, русскій простой человѣкъ, я, говоритъ, не знаю по-французски и всякихъ, говоритъ, тамъ выкрутасовъ... Я отъ души на прямки». Да такъ-таки прямо и выложилъ ему свою душу-то!

— А князь что?..

— Его сіятельство тоже настоящій русскій человѣкъ. Онъ потрепалъ Протаса Иваныча по плечу такъ ласково и говоритъ: «Правды-то намъ и нужно, Протась Ивановичъ! Всѣ нынче изолгались и врутъ, говоритъ, какъ сивые мерена. Я и не знаю, кому вѣрить... Такъ какъ-же не цѣнить намъ такихъ простыхъ людей, какъ вы». При этихъ словахъ и Протась Иванычъ не выдержалъ — ты знаешь, вѣдь его сердце?—



онъ заплакалъ и отъ полноты чувствъ князя-то въ ручку, а самъ шепчетъ: «Не обезсудьте, ваше сіятельство! Я, говорить, не могу, сердце переполнено отъ такихъ словъ... Я руссакъ безхитростный». И тогда его сіятельство изволили обнять его и, обнявшись, они простояли такъ минуты двѣ и оба плакали... А за правду-то Протасу Иванычу велѣли выдать подъемныхъ двѣ съ половиной тысячи... И то сказать: мундирчикъ-то на немъ былъ ветхенькій; его сіятельство обратили вниманіе, а Протасъ Иванычъ на это замѣчаніе опять-таки прямо, наотмашь: «Не изъ чего мнѣ, ваше сіятельство, новыхъ мундирчиковъ шить. Можно походить и въ старомъ мундирчикѣ, подкладочку новую ластиковую поставить, что-ли, если душа чистая». И тутъ-же, по-просту, продекламировалъ:

Вотъ идетъ Петрушка

Черный трубочистъ,

Хоть лицомъ онъ грязень,

Но душою чистъ...

— Его сіятельству очень понравился этотъ стишокъ... Онъ нѣсколько разъ заставилъ Протаса Иваныча повторить его и просилъ записать на память, причемъ, какъ рассказывалъ Протасъ Иванычъ, далъ о стишкѣ такой одобри-тельный отзывъ: «Стишокъ отмѣнно хорошъ и остроумень. Авторъ выразилъ въ немъ патриотическія чувства и зрѣлый талантъ».

## II.

Однимъ словомъ, про дяденьку Протаса Ивановича ходило не мало разказовъ, свидѣтельствующихъ объ его умѣ, находчивости, безкорыстїи и, главное, объ его способности рѣзать «правду-матку», ни передъ кѣмъ не стѣсняясь, съ наивной грубостью медвѣдя и съ чистосердечїемъ откровеннаго человѣка.

И—что всего удивительнѣе — эта откровенность не только не представляла неудобствъ, а, напротивъ, усѣяла жизненный путь Протаса Ивановича розами и фіалками.

Протасъ Ивановичъ еще и въ молодыхъ годахъ не стѣснялся рѣзать «правду-матку» и этимъ самымъ отличался отъ своихъ товарищей по успѣхамъ въ жизни. Товарищи его не столь плотные, какъ дяденька, не имѣли такого пристрастїя къ откровенности и, напротивъ, достигали успѣховъ тощимъ видомъ, скромностью и готовностью имѣть столько правдъ у себя въ боковомъ карманѣ, сколько находилось надъ ними начальниковъ.

Дяденькѣ Протасу Ивановичу, очевидно, не къ лицу были такїе прїемы. Онъ и въ молодые годы былъ коренастъ и необыкновенно

толстѣ, имѣлъ широкую грудь и короткую шею, на которой была помѣщена большая голова, съ трудомъ поворачивающаяся, точно она была пришита къ затылку. Съ такую наружностью, какъ не ухитрился, а трудно пробраться въ задній карманъ начальства и сидѣть въ немъ какъ въ маленькомъ раю. Тощому это можно, а толстому—нельзя. И какъ ни старайся, а никакъ не сдѣлаешь изъ румянаго, брызжущаго здоровьемъ, широкаго мясистаго лица съ вѣчно веселой улыбкой — той изжелто-блѣдной физиономіи безъ улыбки, а съ одной только готовностью умереть во всякое время дня и ночи,—которой обыкновенно отличаются худощавые люди, достигающіе намѣченной цѣли тихонько, не торопясь, болѣе помалчивая, чѣмъ болтая.

А мой дяденька къ тому же былъ болтливъ, какъ сорѣка. Онъ болталъ, не останавливаясь, кряду по пяти часовъ, сидя за своимъ письменнымъ столикомъ и—какъ онъ ухитрился, это ужъ его дѣло—но только порученныя ему дѣла исполнялись, какъ слѣдуетъ, тощими переписчиками. Онъ бывало подмахнетъ и опять болтаетъ на счетъ того, что безъ правды никакъ нельзя жить на свѣтѣ такому толстому и веселому человѣку.

Онъ и тогда ужъ рѣзалъ «матку-правду», такъ что худощавые его товарищи не безъ

удовольствія чаяли, что скоро Протаса Ивановича уберутъ и замѣнятъ его тощимъ человѣкомъ. Однажды онъ такъ горячо объяснялъ своему непосредственному начальнику о томъ, что онъ русскій человѣкъ и—«ужь прошу меня простить»—любитъ по простотѣ рѣзать «матку-правду», (эти два слова были его любимыми и впослѣдствіи онъ даже испросилъ разрѣшеніе включить ихъ въ свой гербъ), что всѣ худошавые ждали неминуемаго скандала, такъ неистово Протасъ Ивановичъ билъ себя въ грудь кулакомъ и такъ громко говорилъ въ глаза такія вещи, о которыхъ обыкновенно только думаютъ. Но, къ общему изумленію, никакого скандала не произошло. Напротивъ, непосредственный начальникъ (тоже изъ худошавыхъ) какъ-то особенно пристально взглядывалъ на Протаса Ивановича и, когда послѣдній нѣсколько успокоился, вытеръ слезу благороднаго негодованія, стеръ потъ со своего лба и пересталъ терзать свою широкую грудь увѣсистымъ кулакомъ, худошавый начальникъ тихо, съ едва замѣтной улыбкой на тонкихъ губахъ, взялъ его подъ-руку, отвелъ къ себѣ въ кабинетъ и спросилъ:

— А сколько вамъ лѣтъ, молодой человѣкъ?

— Двадцать семь!

— Вы, молодой человѣкъ, далеко пойдете...

Въ васъ оригинальность есть... Впрочемъ, какже

и не быть?.. Экъ васъ разнесло какъ! улыбнулся начальникъ, не то насмѣшливо, не то какъ-то загадочно.—Вамъ нельзя, какъ намъ худошавымъ... Хе... хе... хе... А за вашу правду благодарю... очень даже, но жаль, молодой человекъ, что я не могу воспользоваться ею, какъ слѣдуетъ... Вы вѣрно еще не знаете?.. Я уволенъ въ отставку и... Худошавый запнулся... и ужь не имѣю возможности оцѣнить вашей прямоты по достоинству!

Худошавый протянулъ руку и взглянулъ опять въ глаза Протасу Ивановичу, но—странное дѣло!—Протасъ Ивановичъ осовѣлъ; лицо его вдругъ потеряло выраженіе благороднаго негодованія, и глаза какъ-то смотрѣли вкось, избѣгая встрѣчи съ глазами бывшаго непосредственнаго начальника.

— Ну, желаю вамъ, молодой человекъ, всего хорошаго... Если, когда что... не забудьте и насъ... Экъ васъ разнесло!.. Хе... хе... хе!..

Когда худошавые товарищи увидали осовѣлое лицо Протаса Ивановича и весело заключили, что отнынѣ онъ ужь лишенъ возможности рѣзать «правду-матку» и долженъ будетъ уфхать, по крайней мѣрѣ, въ Америку,—все бросились его поздравлять и пожимать ему руки за мужество и доблесть, только что имъ проявленные. Но Протасъ Ивановичъ (не даромъ онъ тогда еще былъ молодъ!) принялъ товари-

щескія изліянія какъ-то холодно и раньше времени ушелъ домой.

Но когда черезъ недѣлю худощавые узнали, что выходитъ въ отставку не Протасъ Ивановичъ, а непосредственный начальникъ, то изумленію не было предѣловъ. Большинство худощавыхъ вдругъ пошли къ лучшимъ врачамъ и стали настоятельно требовать самыхъ радикальныхъ средствъ для того, чтобы пополнѣть. Люди, не пившіе пива, стали душить его въ несмѣтномъ количествѣ, люди, не любившіе мучного, стали надоѣдать женамъ, чтобы за обѣдомъ было побольше мучного и поменьше говядины.

— Да что это съ вами? говорили жены.

— А то съ нами, что нужно намъ пополнѣть.

— Зачѣмъ это?

— А Протасъ Ивановичъ... Слышали?..

Шель, конечно, рассказъ о Протасѣ Ивановичѣ съ приличными комментаріями и съ прискорбнымъ прибавленіемъ, что онъ не только не уѣхалъ въ Америку, а, напротивъ, получилъ высшій окладъ.

Жены, разумѣется, охотно стали заказывать пироги, и я не знаю, чѣмъ бы кончилась эта революція худощавыхъ, если бы не случилось обстоятельства, заставившаго худощавыхъ бросить леченіе, пиво и пироги и пожелать снова оставаться въ штатѣ худощавыхъ.

Случай вышелъ такой.

Одного худенькаго, совсѣмъ худенькаго человека терзала мысль, что ему, не смотря на мучную пищу, пришлось-бы, по точному расчету одного извѣстнаго врача, ждать ровно три года и пять мѣсяцевъ съ восемью днями до того времени, когда онъ можетъ достигнуть четверти той плотности, какой обладаетъ Протась Ивановичъ. Худенькій не могъ похвастать большимъ терпѣніемъ. Онъ рѣшилъ, не дожидаться опредѣленнаго врачами срока и предупредить товарищей, которые, къ его ужасу, стали было уже полнѣть не по днямъ, а по часамъ. У него созрѣла мысль, мысль эта была поддержана его супругой, и вотъ, въ одно прекрасное утро, худенькій пришелъ въ департаментъ и сразу заходилъ по департаменту такимъ гоголемъ, что всѣ начали спрашивать: не выигралъ-ли онъ двухсотъ тысячъ?

— Нѣтъ! какъ-то загадочно отвѣчалъ худенькій...

— Наслѣдство получилъ?

— И наслѣдства не получалъ.

— Начальникъ поцѣловалъ?..

— Нужны мнѣ его поцѣлуи! вдругъ обрѣзалъ онъ такъ рѣшительно, что всѣ только разинули рты и не могли проронить слова.

Какъ разъ въ ту пору вошелъ начальникъ,

ласково со всѣми поздоровался и, между прочимъ, замѣтилъ самому худенькому:

— А ту бумажечку, о которой я васъ просилъ, изготовили?

— Нѣтъ, не изготовилъ! произнесъ худенькій рѣшительно.

Всѣ сидѣли, словно бы очарованные. Даже самъ начальникъ и тотъ на секунду очаровался.

— Почему?

— А потому, что... Ужь вы меня простите... Я русскій человѣкъ и привыкъ правду-матку рѣзать... Я не могу никакъ видѣть, какъ нарушается правильное теченіе бумагъ... Я человѣкъ откровенный... Я...

И худенькій сталъ колотить себя худенькимъ кулаченкомъ по худенькой груди и, на сколько позволяло силъ, снова выкрикивать «правду-матку».

— Вы не больны-ли? освѣдомился начальникъ.

— Нѣтъ-съ, я, слава Богу, здоровъ!

— Здоровы? А кажется мнѣ, что вы на столько больны, что вамъ нужно будетъ полечиться!

Съ этими словами начальникъ ушелъ.

А худенькій все сидитъ гоголемъ и думаетъ, что вотъ-вотъ ему сейчасъ-же принесутъ извѣстіе о высшемъ окладѣ, даже и товарищи его не безъ зависти смотрѣли на его задорный видъ,



и, прозрѣвши каверзу, чуть-ли не громко называли его «интриганомъ» (обѣщаль лечиться и пополнѣть и вдругъ такую штуку отмочилъ!) Но когда черезъ два часа худенькому принесли подлинную резолюцію объ увольненіи безъ прошенія, то онъ долго еще не могъ придти въ себя и, свѣсивъ голову на грудь, только повторялъ:

— Да какъ-же это... какъ-же! А Протась Иванычъ?

Всѣ худошавые тоже пришли въ недоумѣніе и тутъ же рѣшили бросить діету. Одинъ Протась Ивановичъ весело хихикалъ и болталъ со съду, что ему безъ «правды-матки» не жить.

И вскорѣ, какъ нарочно, открылся блестящій случай доказать это. Въ тѣ мѣста, гдѣ жилъ дяденька, пріѣхалъ начальникъ, который требовалъ «правды, одной правды и больше ничего». Вслѣдъ затѣмъ понадобился откровенный человекъ, самый, что называется, откровенный, для исполненія какого-то порученія.

Пришли выбирать. Осмотрѣли всѣхъ. Видятъ: все какіе-то не откровенныя лица, въ которыхъ преданности много, но откровенности мало. Хотѣли было уже уходить, какъ вдругъ взгляды скользнулъ по лицу Протаса Ивановича, остановился и радостно блеснулъ при видѣ этого широкаго добродушнаго лица. «Господи! Да это самая откровенность и есть! А мы ищемъ!»

— Молодой человѣкъ... Намъ нуженъ...

— Я, ваше п—во, не гожусь! не стѣсняясь перебиваетъ молодой человѣкъ.—Я, ваше п—во, русскій человѣкъ и люблю рѣзать «правду-матку»... Я...

— Да вы позвольте... дайте намъ досказать, молодой человѣкъ...

Но «молодой человѣкъ» сталъ еще пуще горячиться и забилъ себя снова такъ кулаками въ грудь, что худошавые опять подумали, что теперь шабашъ, придется уѣхать этому толстяку въ Австралію. Они не забыли еще случая съ худенькимъ и испуганно слушали, какъ толстякъ съ азартомъ восклицалъ:

— Я, ваше п—о, не гожусь... Я все, что увижу, все такъ по-русски, безъ прикрасъ, и выложу... Злоупотребленій не прикрою-сь... Нѣтъ-сь... Я русскій человѣкъ, душа простая, любитъ правду-матку... Мнѣ главное—правда, безъ того я сейчасъ бы умеръ... И что жить безъ правды? Я не умѣю по дипломатически... Я попросту безъ затѣй. Нѣтъ, ужь увольте меня, ваше п—о... Я...

Но, къ общему изумленію, вмѣсто негодова-нія въ глазахъ начальства стоялъ тотъ снисходительно поощрительный взглядъ, которымъ часто матери смотрятъ на своего рѣзваго малютку, выказывающаго, по ихъ мнѣнію, большія способности.

— Такого-то намъ и нужно, молодой человекъ... Одной правды, правды и ничего кромѣ правды. Довольно мы слушали льстивыхъ словъ. Дайте намъ правды!..

И съ этими словами молодого человека увели подъ-руку, а худошавые, какъ сидѣли съ разинутыми ртами, такъ и остались до тѣхъ поръ, пока не пришелъ сторожъ и не сказалъ, что время закрывать рты.

Молодой человекъ вполнѣ оправдалъ довѣріе. Онъ говорилъ правду, одну правду и болѣе ничего.

— Ваше п—во... я не могу... Я русскій, люблю матку-правду...

— Что съ вами, молодой человекъ?

— Не могу, ваше п—во, скрыть, хотя бы за это мнѣ пришлось пострадать... У насъ, ваше п—во, сторожа воруютъ перья и бумагу...

— Благодарю васъ, молодой человекъ, за открытіе этого злоупотребленія... Очень вамъ благодаренъ... Вы знаете, я требую отъ подчиненныхъ правды, одной правды и болѣе ничего.

— Я, ваше п—во, люблю правду. Для меня главное, ваше п—во, правда... Я русскій простой человекъ и хитрить не умѣю...

— Да вы успокойтесь, молодой человекъ... что съ вами?.. Успокойтесь, говорилъ начальникъ, усаживая взволнованнаго молодого человека въ кресло.

— Не могу, ваше п—во, успокоиться. Простите, ваше п—во, я русскій человѣкъ, простой... Что на умѣ, то и на языкѣ...

— И прекрасно... Вы знаете, я прошу правды, одной правды и болѣе ничего...

— Это, ваше п—во, меня и трогаетъ... Я, можно даже сказать, полюбилъ васъ, какъ родного отца, именно за то, что вы изволите не бояться правды...

— Такъ что же, молодой человѣкъ, вы хотѣли сказать?.. Говорите!

— Вы, ваше п—во... Ужъ вы меня простите за простоту... Вы изволили поступить незаконно... Его п—во хмурится...

— Въ чемъ же, молодой человѣкъ?..

— Вы приказали выдать сторожу пять рублей награды, а по закону ему полагается три съ полтиной!.. задыхаясь отъ волненія, докладывалъ молодой человѣкъ.—Казенный интересъ такимъ образомъ терпитъ ущербъ...

— Спасибо... спасибо... Вы правы... Мы исправимъ эту оплошность... Благодарю васъ! Вы вѣдь знаете, что я прошу правды, одной правды и ничего болѣе...

Его п—во прижалъ молодого человѣка къ груди.

— Всегда поступайте такъ... Это честно и благородно... Намъ нужны люди, которые не боятся правды.

Кажется, и не особенно мудреняя слова говорилъ Протасъ Ивановичъ, да вдобавокъ еще и слова-то были все одни и тѣ-же, и запасъ ихъ былъ далеко не разнообразенъ, но сказанныя во время и съ умомъ, они производили надлежащій эффектъ, такъ что слухъ объ откровенномъ молодомъ человѣкѣ, говорящемъ правду, не стѣсняясь, тогда какъ товарищи все еще продолжали стѣсняться, распространился повсюду. На молодого человѣка обратили вниманіе; ему стали давать лестныя порученія. Безкорыстіе и откровенность его сдѣлались общепризнаннымъ фактомъ, такъ что даже въ газетахъ появились корреспонденціи, сообщавшія о появившемся чудѣ—о человѣкѣ, говорящемъ въ глаза правду, одну правду и ничего болѣе. Слава его росла. Ни отъ какихъ порученій онъ не отказывался. Онъ утверждалъ, что русскій человѣкъ все смекнуть можетъ, и любилъ повторять анекдоты о самоучкахъ... Надо ли было изслѣдовать вопросъ о ловлѣ трески, онъ брался за треску, ѣхалъ на мѣсто и въ недѣлю изслѣдовалъ; надо ли было свидѣтельствовать лѣса, онъ, ни мало не задумываясь, свидѣтельствовалъ; требовалось ли изыскать мѣры для улучшения конскихъ породъ, худо-ли, хорошо-ли, но онъ изыскивалъ и горячо докладавалъ объ этомъ кому слѣдуетъ.

«На всѣ руки вы мастеръ!» похваливали его

и цѣнили какъ правдиваго и откровеннаго человека.

Онъ, по словамъ родственниковъ и знакомыхъ, былъ въ молодости превосходный ветеринаръ и избавилъ весь уѣздъ отъ сибирской язвы, благодаря средству, дотолѣ неизвѣстному въ медицинѣ, но выдуманному Протасомъ Ивановичемъ (составъ изъ купороса, соли, дегтя и махорки). Затѣмъ онъ былъ отличнымъ исправникомъ, послѣ чего не менѣе превосходнымъ педагогомъ, пока, наконецъ, не обнаружилъ необыкновенныхъ высшихъ способностей. «И всегда до всего доходилъ своимъ умомъ, всегда изнутри, изъ своего русскаго нутра, выдумывалъ». Далѣе рассказывали совсѣмъ ужъ неправдоподобную исторію о томъ, какъ Протасъ Ивановичъ десятью хлѣбами накормилъ неурожайную губернію и наконецъ передавали легенду объ огурцѣ, причемъ въ Коломнѣ и на Пескахъ я слышалъ различные варианты этой легенды; однако, основаніе легенды было одно и то-же и относилось ко времени путешествія Протаса Ивановича за границу для изученія на мѣстѣ различныхъ способовъ приготовленія селедки...

Во время проѣзда черезъ княжество Лихтенштейнъ, ея свѣтлость княгиня Лихтенштейнская удостоила Протаса Ивановича пригласить къ себѣ; хотя Протасъ Ивановичъ ни по-французки, ни по-нѣмецки не говорилъ, но тѣмъ

не менѣе при помощи мимики и нѣкоторыхъ словъ произвелъ на ея свѣтлость очень хорошее впечатлѣніе, особенно послѣ эпизода съ огурцомъ. Вышло это такъ: показывая Протасу Ивановичу свой огородъ и жалуясь, что она, принцесса, по малости населенія, принуждена сама входить во все и даже смотрѣть за огородомъ—иначе, того и гляди, Бисмаркъ отниметъ и послѣднее достояніе!—принцесса изволила собственноручно сорвать огурецъ и предложила Протасу Ивановичу огурецъ этотъ скушать, причемъ указала ручкой, какъ это сдѣлать. Но Протасъ Ивановичъ вмѣсто того огурецъ-то этотъ поцѣловалъ (въ забывчивости не утеревъ съ него даже навоза) и знаками даль понять, что огурецъ онъ не съѣстъ ни за что, а сохранить его на память, какъ нѣкоторый талисманъ. Принцесса Лихтенштейнская, не привыкшая натурально къ выраженію такихъ благородныхъ чувствъ—много-ль у нея-то и поданныхъ?—была необычайно этимъ тронута и дала Протасу Ивановичу еще одинъ огурецъ, но уже поменьше—нѣмка была скупенька!—но съ той поры всѣ узнали, какъ сильны чувства у нашего Протаса Ивановича!..

Такъ передавалась эта легенда въ Коломнѣ. На Пескахъ она передавалась нѣсколько иначе. Тамъ дѣйствующимъ лицомъ была не принцесса Лихтенштейнская, а восточный принцъ Абдуль-

ханъ, и рассказывалось уже не объ огурцѣ, а о подошвѣ, данной будто-бы его высочествомъ Протасу Ивановичу въ подарокъ и тоже сохраненной дяденькой въ качествѣ талисмана...

Нѣтъ сомнѣнiя, что всѣ эти легенды сочинялись въ Коломнѣ и на Пескахъ многочисленными родственниками, но фактъ сочиненiя такихъ легендъ тѣмъ не менѣе показывалъ, какъ всѣ любили Протаса Ивановича. И дѣйствительно, имя дяденьки произносилось между родными всегда съ особеннымъ уваженiемъ и какою-то торжественностью, а когда онъ жаловалъ къ кому-нибудь изъ родныхъ и подчиненныхъ на пирогъ или на «тарелку супа», то такое посѣщенiе давало пищу восторгамъ на долгое время.

### III.

И то сказать, какъ было его не любить! Какую массу родныхъ и знакомыхъ пристроилъ онъ къ мѣстамъ... Тому мѣстечко, другому, третьему, десятому... «Въ пятомъ колѣнѣ и то родство признаеть!» говорили про дяденьку родственницы. Попросятъ его за брата или за



свояка, онъ призоветъ претендента и начнетъ исповѣдывать:

— Здравый смыслъ у тебя есть?

— Кажется, дяденька... Я и аттестатъ имѣю...

Въ гимназїи курсъ кончилъ...

— Ты глупостей мнѣ не говори... Зачѣмъ мнѣ твой аттестатъ?.. Очень нужно мнѣ знать, что ты тамъ разныя глупости проходилъ... Это даже лишнее... Я вотъ ветеринаромъ былъ, а слава Богу... Такъ если Богъ разсудкомъ не обидѣлъ—всему научиться можешь...

— Слушаю, дяденька...

— Только у меня знаешь... Правда и правда... Слышишь?

— Помилуйте...

— То-то!.. Смотри служи честно и не думай о хищенїи... Наше вѣдомство заслужило дурную репутацію на этотъ счетъ, но теперь у насъ... У меня тутъ все видно!.. добавлялъ онъ, показывая на свои таблицы. Ну, съ Богомъ, недѣлку, другую присмотришь, а тамъ и на мѣсто.

Смотришь, Васинька или Петенька уже ѣхалъ черезъ недѣлку, другую на мѣсто и годика черезъ два возвращался погостить въ Петербургъ, какъ-будто поперившись... И поступь дѣлалась тверже, и голосъ увѣреннѣй... однимъ словомъ, видно было, что человѣкъ на кормахъ.

Помню очень хорошо, какъ однажды на ве-

черѣ у коломенской тетеньки я встрѣтилъ одного изъ такихъ родственниковъ, пригрѣтыхъ дяденькой.

Митенька былъ скромный, очень скромный, добронравный и даже чувствительный молодой человѣкъ, оперившійся съ тѣхъ поръ, какъ дяденька «пристроилъ» его. До того онъ искалъ мѣстъ и нерѣдко сокрушался, что покойный папенька его былъ «неисправимымъ идеалистомъ», служилъ въ тамождѣ и умеръ голякомъ.

— Если-бы папенька побольше думалъ о своихъ дѣтяхъ, мы не терпѣли-бы лишеній. Я бы кончилъ курсъ, какъ слѣдуетъ, и былъ-бы подпорой маменькѣ! говаривалъ онъ, бывало.

Вотъ этотъ-то скромный молодой человѣкъ рассказывалъ мнѣ, какъ теперь, благодаря дяденькѣ, очистилось вѣдомство, и какъ у нихъ все «честно и благородно».

— Хищенія нѣтъ?

— Что вы? При дяденькѣ? ужаснулся даже молодой человѣкъ.

И всѣ родственники въ одинъ голосъ повторили:

— При дяденькѣ? При Протасѣ Иванычѣ!? Какъ вамъ не стыдно подумать!

И затѣмъ начались перечисленія добродѣтелей Протаса Ивановича. Сколько онъ дѣлаетъ добра! Какой онъ родственникъ! Дошло до того, что стали стыдить меня за то, что я, род-

ной племянникъ, и не схожу попросить себѣ мѣста.

— Да у меня, слава Богу, есть работа; цѣлый день занять!

— Все равно... Онъ тебя запишетъ для жалованья—онъ приметъ во вниманіе твое семейное положеніе... Онъ добрый. Вотъ Петя, Женичкинъ братъ, двѣсти рублей въ мѣсяцъ получаетъ, а живетъ въ Парижѣ... А Костя Куроцапкинъ, двоюродный племянникъ?.. А Васенька?.. А Колю командировали въ Италію, чтобъ дать возможность женѣ его лечиться въ Ниццѣ...

Слѣдовало еще перечисленіе именъ... Всѣ оживились, восхваляя наперерывъ дяденьку Протаса Ивановича. Коломна и Пески читали единодушно акафистъ. Никто не находилъ страннымъ, что можно получать жалованье, не ходивши даже на службу. «Все равно, по штату деньги полагаются... Не возвращать-же ихъ въ казну... Пусть лучше пойдутъ бѣдному человѣку!» и т. д. Тутъ-же, въ видѣ похвалы Протасу Ивановичу, сообщили, какъ онъ, выдавая дочь замужъ за своего подчиненнаго, испросилъ пособіе и для жениха и для себя. Приданое и сдѣлалъ. Мало-по-малу изъ рассказовъ выяснилось, что Протасъ Ивановичъ и отъ командировокъ получаетъ довольно и что, наконецъ, Протасу Ивановичу и

землицы изрядный кусъ отрѣзали въ Западномъ краѣ и все за его прямоту да честность...

Одна только Агафья Тихоновна, ядовитая вдова статскаго совѣтника, возстала противъ общаго мнѣнія и зашипѣла. Она назвала Протаса Ивановича «Пролазомъ Ивановичемъ» и даже выказала ариѳметическія способности, начавши перечислять сколько дяденька «срываетъ» въ годъ разныхъ дополнительныхъ сборовъ. То же и относительно подчиненныхъ дяденьки она далеко не была того мнѣнія, чтобы они поступали честно и благородно. «Отчего это «нѣкоторые» (и при этомъ Агафья Тихоновна довольно ехидно взглянула на скромнаго молодого человѣка), уѣзжая на службу, съ позволенія сказать, безъ сапогъ и получая— «мы знаемъ какое жалованье!»—годика черезъ два дарятъ женамъ чернобурыхъ лисицъ и покупаютъ брилліанты... Не бойсь, на жалованье?!?»

Но ядовитой статской совѣтницѣ не дали продолжать. На нее напали со всѣхъ сторонъ, и кто-то прямо выпалилъ, что она имѣетъ «личности» противъ дяденьки.

— Она за сына хлопотала, а Протась Ивановичъ, при всемъ желаніи, не могъ опредѣлить сына ея! говорила мнѣ подъ шумокъ одна молодая родственница.—Ты вѣдь знаешь какой оболтусъ ея сынокъ? Идіотъ совсѣмъ! До пятидесяти сосчитать не можетъ. Дяденька

принужденъ былъ отказать, вотъ она и злится на дяденьку!

Несмотря на протесты, статская совѣтница продолжала, однако, отбиваться. То и дѣло съ ея устъ срывались ехидныя замѣчанія насчетъ «Пролаза Ивановича». И даже — о, святотатство! — легенду объ огурцѣ она норовила объяснить совсѣмъ иначе...

Солидный молодой человѣкъ, однако, успѣлъ утишить бурю, пошептавшись съ тетенькой Агафьей Тихоновной. Что такое онъ шепталъ, Богъ его знаетъ, но только Агафья Тихоновна усмирилась! Послѣ сказывали, что онъ ей обѣщалъ подарить персидскую шаль, приобретенную имъ по случаю. Надо тутъ замѣтить, что почти всѣ предметы ввоза приобретались въ этой компаніи «по случаю» и, такимъ образомъ, «случай» былъ хорошимъ подспорьемъ по хозяйству.

Къ концу ужина, когда вина, приобретенная тоже, разумѣется, «по случаю», внесли еще большее оживленіе, скромный молодой человѣкъ, сидѣвшій рядомъ со мной, значительно подпилъ; на Митеньку вдругъ напала какая-то отвага, и онъ счелъ своимъ долгомъ высказаться. Во-первыхъ, онъ заявилъ о своихъ гражданскихъ чувствахъ, хотя въ нихъ никто не сомнѣвался, и объявилъ громогласно, что онъ истинный патріотъ. Затѣмъ сталъ раз-

сказывать, какъ онъ живетъ въ своей провинціи. У него и поварь, и лошадки рѣзвыя, домъ— полная чаша, жену онъ балуетъ, маменькѣ служитъ подпорой, вообще живетъ какъ «порядочный человѣкъ».

— И на черный день кое-что прикапливаемъ! прибавилъ онъ горделиво въ заключеніе.

— Видно, дешево жить?

— Дешево не дешево, а жить тамъ хорошо. Можно жить, братецъ!

— Доходцы есть?

— Есть-таки и хорошіе доходцы!..

Испробовавъ винъ разныхъ сортовъ, сосѣдъ мой окончательно вошелъ въ азартъ. Глаза его загорѣлись плотояднымъ блескомъ, когда онъ сталъ пояснять мнѣ, какіе у нихъ доходцы. Мнѣ казалось, что онъ хвасталъ, фамиллярно обращаясь съ цифрами, и тогда онъ, нѣсколько даже обиженный, что я не вѣрю ему, входилъ въ подробности и хвалился, какъ все это у нихъ правильно и хорошо организовано, совсѣмъ на коммерческомъ основаніи. При томъ онъ ни разу не упомянулъ слова «взятка», а говорилъ лишь о «комиссіи», о «соглашеніи» и т. п. Чѣмъ болѣе онъ рассказывалъ, тѣмъ болѣе оживлялся и бахвалился.

— Прежде не то еще было! проговорилъ онъ, видимо довольный произведеннымъ впечатлѣніемъ.

— Неужто?

— Это, братецъ, цѣлая поэма... Тогда въ два-три года можно было при случаѣ нажать огромное состояніе... Напримѣръ, если партія фальшивыхъ ассигнацій или...

— Но какъ-же дяденька?.. перебилъ я; — вѣдь у него таблицы?

— Таблицы!? засмѣялся Митенька пьянымъ смѣхомъ.—Какъ-же, какъ-же! Дяденька превосходный человѣкъ, но тутъ у него гвоздь! показалъ онъ на свой лобъ.—Таблицы!?. Мы надъ этими таблицами много смѣемся. Вѣдь у насъ, братецъ, жизнь, а не таблицы!

И онъ снова разразился самымъ паскуднымъ смѣхомъ.

Я вспомнилъ, что этотъ скромный молодой человѣкъ въ дяденькиной «таблицѣ нравственности» значился подъ лиловымъ кружкомъ и, признаться, пожалѣлъ дяденьку...

— Мы очень цѣнимъ дяденьку! продолжалъ молодой человѣкъ;—очень цѣнимъ и никогда не подведемъ его, нѣтъ! У насъ все довольно остроумно устроено...

#### IV.

Мѣсяца черезъ два послѣ этого разговора, пронесся зловѣщій слухъ о грандіозномъ хи-

шеніи въ вѣдомствѣ, гдѣ служилъ дяденька; говорили, что прикосновенныхъ накрыли. Вскорѣ слухъ этотъ попалъ и въ газеты; по словамъ корреспондентовъ, обнаружилось нѣчто дѣйствительно колоссальное. Въ Коломнѣ и Пескахъ наступила паника.

Всѣ родственники ходили какъ ошалѣлые; многіе отправились пѣшкомъ къ Сергію излить горе въ молитвѣ; нечего и говорить, что всѣ сочувствовали Протасу Ивановичу, бранили этихъ «подлецовъ», забывшихъ Бога, которые подвели дяденьку, и горько сожалѣли, что теперь, пожалуй, многимъ изъ нихъ не придется пріобрѣтать «по случаю» разныхъ необходимыхъ предметовъ по хозяйству. «Какъ-то теперь будетъ жить дяденька?.. Онъ вѣдь себѣ ничего не прикопилъ! Безсребреникъ вѣдь дяденька!» Но ехидная статская совѣтница и при такихъ обстоятельствахъ не удержала своего языка.

— Пролазь-то Иванычъ не прикопилъ? замѣтила она.—Онъ-то!?

И, задыхаясь отъ волненія, словно боясь, что ей не дадутъ говорить, она начала перечислять сколько «урвалъ» дяденька разными подъемными, пособіями, остаточными и т. д. и заключила свою ехидную рѣчь восклицаніемъ: «Пролазь Иванычъ не пропадетъ... не таковскій!»

Я отправился къ дяденькѣ Протасу Ивановичу узнать правду. Вхожу въ кабинетъ. Онъ



шагаетъ быстрыми, нервными шагами, взволнованный, разстроенный. Увидавъ меня, онъ остановился, протянулъ руку и остановилъ на мнѣ свой взглядъ. Какое-то недоумѣніе стояло въ этомъ взглядѣ маленькихъ глазъ, въ чертахъ этого мясистаго, широкаго лица.

— Кто-бы могъ этого ожидать! проговорилъ онъ, наконецъ.— Кажется, у меня сосредоточены всѣ свѣдѣнія... (Онъ указалъ рукой на стѣну, покрытую картами и таблицами). И вдругъ... Подлецы!

Я не знаю, закралось-ли въ его геніальную голову чувство недовѣрія къ таблицамъ или какая-нибудь новая «предупреждающая» таблица озарила его мозгъ, но только онъ поникъ головой и нѣсколько времени молча стоялъ передъ этими таблицами, скрестивши руки, какъ Наполеонъ на статуеткахъ.

— Кажется, я долженъ былъ служить имъ примѣромъ! съ горечью проговорилъ дяденька.— Я дѣйствовалъ честно, и эти подлецы меня подвели, а еще родственники! Ты знаешь, Митенька одинъ изъ главныхъ мошенниковъ? Митенька, котораго я въ люди вывелъ!

Онъ разразился гнѣвомъ и обѣщалъ никого не пощадить. Себя онъ считалъ невинной жертвой.

Дяденька Протасъ Ивановичъ въ самомъ дѣлѣ былъ пораженъ. Слишкомъ ужъ грандіозное

было хищеніе; практиковалось оно давно и было организовано по всѣмъ правиламъ мошенническаго искусства. А не онъ-ли былъ увѣренъ, что уничтожилъ хищеніе и завелъ настоящіе порядки? Не онъ-ли выдумывалъ таблицы, даже осуществилъ мою мысль о діаграмѣ нравственности и писалъ грозныя посланія къ подчиненнымъ коринѳянамъ? По поводу этихъ посланій нѣкоторыя газеты даже пришли въ умиленіе и прозрѣли новую эру. Не онъ-ли, въ началѣ своей дѣятельности, показалъ примѣръ на двухъ чиновникахъ, повинныхъ въ лихоимствѣ? Не онъ-ли ежегодно получалъ подъемныя, чтобы лично удостовѣриться, вездѣ-ли порядокъ и правда, вездѣ-ли то самое, что показывали ему таблицы?.. Онъ ѣздилъ, осматривалъ, одобрялъ и вдругъ приходится стукнуться крѣпкимъ лбомъ въ стѣну и увидать въ одинъ прекрасный день—и то по указанію другихъ,—что все это зданіе съ таблицами, циркулярами, экзаменами и пр. и пр., выводимое съ любовью и гордостью, — построено на песцѣ и оказывается вполнѣ гнилымъ и никуда негоднымъ... Хищеніе не только не было имъ уничтожено, но какъ-будто нагло смѣялось въ глаза и говорило:

— На-ко съѣшь!

# УЖАСНАЯ БОЛѢЗНЬ.

Y. JACHAR BOM BHP.

# Ужасная болѣзнь.

---

## I.

Трудно съ точностью опредѣлить начало болѣзни, сгубившей моего бѣднаго пріятеля Ивана Ракушкина. Онъ уже былъ юноща семнадцати лѣтъ, съ еле пробивавшимся пушкомъ на блѣдномъ лицѣ, съ большими голубыми глазами, болѣзненно-самолюбивый, застѣнчивый малый, добрый товарищъ, кончавшій вмѣстѣ со мною курсъ въ одномъ спеціальному заведеніи, когда однажды, поздно ночью, проснувшись отъ жестокой зубной боли, я увидалъ слѣдующее: Ракушкинъ приподнялся на кровати, внимательно озираясь, потомъ тихо всталъ, подошелъ къ лампѣ, уменьшилъ въ ней огонь, одѣлся и, осторожно крадучись, словно боясь, чтобы кто-нибудь не проснулся, прошелъ въ залу и скрылся въ темнотѣ. Че-

резь нѣсколько времени, сквозь стеклянные двери спальни, видно было, какъ въ залѣ за-свѣтился слабый огонекъ.

«Вѣрно пошелъ приготовляться къ экзамену!» подумалъ я, нѣсколько изумленный таинственностью, съ которою онъ совершалъ свое путешествіе по спальнѣ. Мнѣ долго не спалось. Я хорошо слышалъ, какъ часы медленно пробили два, три, четыре... Огонекъ все еще мерцалъ въ залѣ... Наконецъ послышались тѣ-же осторожные шаги, и я увидалъ Ракушкина съ тѣми-же предосторожностями возвращавшагося назадъ. Я кашлянулъ. Онъ вдругъ замеръ на мѣстѣ, обратилъ свое лицо въ мою сторону и еще тише прокрался далѣе, раздѣлся и легъ въ постель.

Меня это заинтересовало. На утро я подошелъ къ Ракушкину и неожиданно спросилъ его:

— Куда это ты ходилъ ночью?

Онъ весь вспыхнулъ до корней волосъ и, заикаясь, отвѣтилъ:

— Ночью?.. Я никуда не ходилъ!.. Да... ходилъ воду пить... Ужасная была жажда!

Я было хотѣлъ на-отрѣзъ сказать ему, что онъ вретъ, что въ теченіи трехъ часовъ воды не пьютъ, но когда взглянулъ на его смущенное лицо, на его большіе голубые глаза, растерянно глядѣвшіе куда то вкось, мнѣ стало

жалъ Ракушкина, и я больше ни о чемъ его не спрашивалъ.

Черезъ нѣсколько дней я всталъ въ четыре часа утра, чтобы позаняться передъ экзаменомъ. Смотрю: кровать Ракушкина пуста. Я вышелъ въ залу. Въ самомъ концѣ ея, при свѣтѣ мерцающаго огарка, я увидалъ знакомую фигуру товарища. Я подошелъ ближе... Ракушкинъ спалъ, склонившись надъ столомъ. Передъ нимъ лежала большая толстая тетрадь, а сбоку руководство астрономіи, раскрытое на предисловіи автора. Ясно было, что онъ не астрономіей занимался. Я заглянулъ въ тетрадь: на открытой страницѣ были написаны стихи; перевернулъ страницу, другую, третью, вездѣ стихи и стихи, рѣдко попадалась, впрочемъ, и проза...

Я прочелъ еще не совсѣмъ засохшую страницу стиховъ, но какихъ стиховъ! Ужасныхъ! Я и теперь хорошо помню слѣдующее двустихіе, блестящее свѣжими чернилами, написанное въ честь Петра Великаго. Оно врѣзалось въ мою память и никогда ничѣмъ не выбьешь его оттуда:

О Петръ, Петръ, ты великій геній,  
Мы о тебѣ хорошихъ мнѣній!

Я понялъ все. И таинственныя ночныя экскурсіи и крайнюю скрытность пріятеля. Тогда же припомнилось мнѣ, какъ годъ или два тому

назадъ, однажды въ классѣ, когда не было преподавателя, сосѣдъ Ракушкина вырвалъ у него листокъ бумаги и, не смотря на протесты Ракушкина, громко прочиталъ передъ классомъ стихотвореніе, начинавшееся, сколько помнится, такъ:

Вчера во снѣ свою Гликерію я видѣлъ,  
Полураздѣтую, съ распущенной косой...

Я позабылъ дальнѣйшія строки, но помню, что въ концѣ концовъ Гликерія звала поэта слѣдующими стихами:

Идемъ... Идемъ!.. Сокроемся подъ капарис-  
ной тѣнью  
И предадимся тамъ любви и наслажденью!

Общій взрывъ хохота двадцати трехъ молодыхъ саврасовъ привѣтствовалъ эти строки. Всѣ безжалостно гоготали, ни сколько не заботясь о томъ, что въ это время дѣлалось съ бѣднымъ Ракушкинымъ. Я взглянулъ на него. Онъ былъ смертельно бѣденъ. Его странные голубые глаза съ какою-то мольбой глядѣли передъ собою. Губы дрожали... Весь онъ какъ-то съежился... Вдругъ изъ глазъ его брызнули слезы. Онъ закрылъ лицо руками и бросился вонъ изъ класса, подъ звуки оглушительнаго хохота.

— Господа!.. заговорилъ одинъ товарищъ, котораго всѣ звали «математикомъ», презиравшій литературу и называвшій «бабой» или



литераторомъ всякаго, кто выказывалъ трусость, слабость характера, или не понималъ поэзіи аналитики.—Господа! Это подло! За что мы обидѣли Ракушкина?..

Рѣзкія эти слова подѣйствовали на классъ. Всѣ затихли и рѣшили извиниться передъ Ракушкинымъ. Послали за нимъ двухъ депутатовъ, и когда Ракушкинъ пришелъ красный, какъ піонъ, классъ торжественно извинился, и дѣло было кончено.

Съ тѣхъ поръ я никогда не видалъ, чтобы Ракушкинъ писалъ стихи, никто его не дразнилъ, и всѣ забыли объ его стихахъ... Онъ сдѣлался еще скрытнѣй, всегда аккуратно запиралъ ключемъ свою конторку въ залѣ и часто удалялся отъ товарищей, просиживая гдѣ-нибудь въ сторонкѣ за чтеніемъ какого-нибудь романа или стихотворенія.

Оказывалось, что онъ писалъ стихи по ночамъ, тайно отъ всѣхъ, выбирая такое время, когда никто не занимается.

Я хотѣлъ было отойти, какъ вдругъ Ракушкинъ проснулся, посмотрѣлъ на меня соннымъ взглядомъ, потомъ быстро вскочилъ, взглянулъ на тетрадь и, схватывая мою руку, спросилъ:

— Ты читалъ?

— Читалъ...

— Не говори имъ... пожалуйста... Не говори! сказалъ онъ умоляющимъ голосомъ.

Я обѣщалъ никому не говорить.

— Ты самъ пишешь стихи, продолжалъ онъ застѣнчиво, — и поймешь, что смѣяться надъ этимъ глупо... Я тебѣ правду скажу... Помнишь, третьяго дня, ночью, ты кашлянулъ, а потомъ утромъ спросилъ меня, куда я ходилъ?.. Я ходилъ сюда... Я каждую ночь сюда хожу... Я много написалъ... Ты не выдашь меня?.. Нѣтъ?.. Вотъ сколько я написалъ! быстро, словно захлебываясь, проговорилъ онъ съ скрытымъ торжествомъ въ голосѣ.

И онъ показалъ мнѣ, кромѣ толстой тетради, лежавшей на столѣ, еще двѣ такихъ-же толстыхъ тетради.

— Все стихи?

— О, нѣтъ!.. У меня есть тутъ и повѣсти и рассказы... есть даже одинъ романъ. Хочешь я тебѣ прочту? Только не здѣсь... Здѣсь насъ могутъ увидеть. Приходи какъ-нибудь въ воскресенье ко мнѣ домой.

Я обѣщалъ придти. Съ этого времени мы сблизились съ Иваномъ Ракушкинымъ. Онъ, бывало, часто декламировалъ мнѣ свои стихи, говорилъ о своихъ задуманныхъ поэмахъ и спрашивалъ, какъ передать ихъ въ редакцію такъ, чтобъ никто не узналъ имени автора.

Въ одно изъ воскресеній я цѣлый день слушалъ романъ Ивана Ракушкина. Романъ былъ ужасный. Ни проблеска дарованія, ни одного

сколько-нибудь правдиваго положенія, ни фантазіи, ни здраваго смысла, такъ что я удивлялся, какъ могъ неглупый Ракушкинъ сочинить такую непроходимую глупость.

— Ну что? спросилъ онъ меня, когда кончилъ, и вдругъ поблѣднѣлъ.

— Я, братъ, плохой судья...

— Ты не рѣшаешься сказать?..

— По моему мнѣнію... не хорошо.

Онъ опустилъ голову.

— Но вѣдь это твой первый романъ? поспѣшилъ я утѣшить Ракушкина.

— Первый...

— Сокрушаться нечего... Можетъ быть, второй будетъ лучше.

Онъ вдругъ повеселѣлъ и торжественно сказалъ:

— Я тебѣ прочту повѣсть! Увидишь, какая это повѣсть!

Повѣсть была не лучше романа, и я высказалъ ему откровенное мнѣніе. Ракушкинъ перемѣнилъ разговоръ, и мы возвратились вмѣстѣ въ заведеніе, не проронивъ ни слова во всю дорогу. На слѣдующій день, онъ подалъ мнѣ слѣдующую записку:

«Не сердись, если я тебѣ выскажу правду. Ты самъ пишешь; мнѣ показалась въ твоёмъ отзывѣ завистливая нотка. Я понимаю это чув-

ство въ писателѣ и не сержусь на него, но провѣрь себя... такъ-ли это?»

Я былъ просто сконфуженъ. Я самъ тогда мараль бумагу и, быть можетъ, отнесся къ Ракушкину строже, чѣмъ-бы слѣдовало... А что если въ самомъ дѣлѣ зависть? подумалъ я и тотчасъ-же отвѣтилъ ему:

«Ты правъ, Ракушкинъ. Я, быть можетъ, отнесся несправедливо. Я не увѣренъ, но мнѣ кажется, что не слѣдуетъ авторамъ читать свои произведенія другъ другу».

Послѣ этого мы пожали другъ другу руки. Вскорѣ Иванъ Ракушкинъ, выдержавшій отлично выпускные экзамены, объявилъ, что выходитъ изъ заведенія.

— Что-же ты думаешь съ собой дѣлать?

— И ты еще спрашиваешь? Я буду писать. Бабушка даетъ мнѣ триста рублей въ годъ, съ меня этого довольно... Я во что-бы то ни стало напишу достойную меня вещь!

— Да кстати... спросилъ я. Ты посылалъ что-нибудь въ редакцію?

— Посылалъ, грустно отвѣтилъ Ракушкинъ.— Отвѣтили, что слабо... Это меня сперва огорчило, но потомъ... Ты вѣдь знаешь, что истинные таланты долго не признаются! торжественно заключилъ онъ и съ гордымъ видомъ прибавилъ:— Прощай! Ты еще услышишь объ Иванѣ Ракушкинѣ!

Мы дружно простились съ нимъ и обѣщали писать другъ другу. Я скоро уѣхалъ изъ Петербурга.

## II.

Прошло четыре года, въ теченіи которыхъ я ничего не слыхалъ объ Иванѣ Ракушкинѣ и не встрѣчалъ его имени ни въ одномъ изъ журналовъ. Я снова вернулся въ Петербургъ, вспомнилъ о старомъ товарищѣ и розыскалъ его. Онъ жилъ въ маленькой комнаткѣ очень бѣдно и по прежнему писалъ ужасное количество романовъ. Мы обрадовались другъ другу.

Онъ похудѣлъ, поблѣднѣлъ, рѣдко обѣдалъ, но не унывалъ и бранилъ всѣ редакціи. Оказалось, что не было редакціи, гдѣ-бы не находилось его рукописи, такъ что (подъ конецъ во всѣхъ редакціяхъ боялись какъ огня имени Ивана Ракушкина.

Его дьявольское упрямство и увѣренность крайне изумляли меня. Самолюбіе и обидчивость его сдѣлались несравненно щекотливѣе, чѣмъ были прежде, такъ что съ нимъ трудно было говорить о предметахъ, касающихся литературы. Мы часто съ нимъ видѣлись и не-

рѣдко проводили время вмѣстѣ съ третьимъ товарищемъ, молодымъ актеромъ, недавно поступившимъ на сцену. Разумѣется, при Иванѣ Ракушкинѣ мы избѣгали говорить объ его произведеніяхъ, да и вообще о литературѣ. Онъ самъ тоже рѣдко начиналъ. Но помню разъ кто-то изъ насъ замѣтилъ, что Бальзакъ, прежде чѣмъ сталъ знаменитымъ романистомъ, написалъ нѣсколько плохихъ романовъ. Вдругъ Иванъ Ракушкинъ весь просіялъ и, краснѣя, проговорилъ:

— Великіе писатели всегда такъ начинали!

Было ясно, что онъ думалъ о себѣ и не терялъ надежды.

Однажды Ракушкинъ принесъ къ намъ (я жилъ вмѣстѣ съ актеромъ) толстую рукопись и просилъ прочесть. На рукописи стояли роковыя слова: «возв...»

— Я носилъ ее въ три редакціи, но тамъ не приняли... Вѣрно и не читали! Извѣстно, какъ относятся редакціи къ молодымъ писателямъ! Прочтите, господа, и скажите ваше мнѣніе... Я въ самомъ дѣлѣ начинаю думать: не бросить ли мнѣ писать!

На другой день мы стали читать рукопись. Этотъ романъ былъ чортъ знаетъ что такое.

Черезъ нѣсколько дней является Иванъ Ракушкинъ.

— Прочли?

— Прочли.

— Ну что-же?

— Брось, Иванъ, писать! замѣтилъ актеръ.—  
Право, брось лучше!

— А ты что скажешь?

— Я подпишусь подъ его словами!

— Ну, братъ, тебѣ нельзя въ этомъ случаѣ  
довѣрять... Ты тоже литераторъ! замѣтилъ,  
хитро улыбаясь, Иванъ Ракушкинъ.— Да и онъ  
относится съ предубѣжденіемъ...

Мы стали его серьезно убѣждать бросить пи-  
саніе и предложили слѣдующее: мы свеземъ ру-  
копись къ одному извѣстному критику, пользо-  
вавшемуся общимъ уваженіемъ, и пусть онъ  
скажетъ свое мнѣніе.

Ракушкинъ согласился.

— Тогда ты бросишь писать, если онъ ска-  
жетъ, что романъ твой плохъ? спросилъ актеръ.

— Брошу! сумрачно отвѣтилъ Иванъ Ракуш-  
кинъ, уходя вонъ.

Мы поѣхали къ извѣстному критику и раз-  
сказали, въ чемъ дѣло. Критикъ былъ такъ лю-  
безенъ, что охотно согласился внимательно про-  
читать рукопись и дать черезъ недѣлю отвѣтъ.

— Только напрасно вы думаете излечить его  
отъ этой болѣзни. Это болѣзнь ужасная! при-  
бавилъ, улыбаясь, критикъ.

Черезъ недѣлю мы получили обратно руко-  
пись съ замѣчаніями. Въ нихъ, въ крайне де-

ликатной формѣ, былъ выраженъ совѣтъ автору никогда не писать беллетристическихъ вещей.

На другой день Ракушкинъ пришелъ къ намъ. Онъ былъ взволнованъ. Голубые его глаза блестяли... Лицо то и дѣло вспыхивало.

Онъ, какъ и всѣ очень самолюбивые люди, не сразу повелъ разговоръ о томъ, что его занимало больше всего, а заговорилъ о какихъ-то пустякахъ... Только черезъ полчаса онъ, какъ-бы нечаянно, обронилъ:

— Ну что, X\* прочелъ рукопись?

— Прочелъ... Вотъ и отвѣтъ.

Онъ сталъ читать. По лицу его пробѣгала горькая усмѣшка: не то тяжелое сознаніе, что критикъ правъ, не то высококомѣрная увѣренность непризнаннаго генія... Когда Ракушкинъ дочиталъ до конца, онъ взялъ рукопись и, уходя, сказалъ:

— Теперь шабашъ... Больше писать не буду!

— Слава Богу! замѣтилъ актеръ.— Бѣдный Иванъ излечился!

— Едва-ли онъ сдержитъ слово. Ты видѣлъ, какъ онъ усмѣхался? замѣтилъ я.

И я былъ правъ. Не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ Ракушкинъ снова написалъ два романа, но уже подъ псевдонимомъ Ракитина. Ни одна редакція его романовъ не приняла, и онъ продалъ ихъ одному рыночному книжному торговцу за 50 рублей. Очень ужъ громкія были заглавія!



Оба романа были жестоко обруганы, но Иванъ Ракушкинъ равнодушно-презрительно отнесся къ статьямъ и сказалъ:

— Много они понимаютъ!.. Вездѣ зависть и кумовство!

Ракушкинъ былъ неисправимъ.

### III.

Прошло еще нѣсколько лѣтъ, и Ракушкинъ куда-то исчезъ изъ Петербурга.

Однажды я получаю по городской почтѣ письмо съ знакомымъ почеркомъ. Письмо было отъ Ивана: «Приходи, пожалуйста, ко мнѣ, писалъ онъ,—я боленъ, лежу въ Маріинской больницѣ».

Я тотчасъ-же поѣхалъ къ нему и засталъ его за работой. Онъ писалъ новый романъ. Увидавъ меня, онъ горько, горько улыбнулся и сказалъ:

— Я, какъ видишь, неисправимъ.

Онъ былъ совсѣмъ худъ, изнуренъ и истомленъ, въ послѣднемъ градусѣ чахотки. Въ эти годы онъ бѣдствовалъ по разнымъ мѣстамъ Россіи, но нигдѣ не устраивался, отдавая большую

часть своего времени писанью... Жизнь его была настоящимъ бѣдованіемъ; бабушка давно умерла, и онъ перебивался кое-какъ. Отъ мѣсть онъ отказывался.

— Видишь-ли, на мѣстахъ надо тратить много времени на скучную работу и мнѣ не было-бы времени писать...

Я долго просидѣлъ около него. Онъ съ лихорадочною поспѣшностью говорилъ о своихъ новыхъ работахъ, о своихъ мечтахъ...

— Я вѣрю, что могу создать большое произведеніе... Ты читалъ, какъ сперва Зола не признавали?.. И однакоже, въ концѣ концовъ...

Отъ долгаго разговора онъ ослабѣлъ и склонился на подушку...

— Послушай... тихо проговорилъ онъ, спустя нѣсколько времени,—если я умру... снеси мои произведенія къ N (онъ назвалъ имя одного извѣстнаго писателя) и попроси его прочесть.

Я обѣщаль.

— А пока прочти вотъ эту вещь и приходи сказать мнѣ... какова она?.. Ты только смотри не церемонься... не жалѣй большого... говори правду!

Онъ протянулъ руку, взялъ со столика рукопись и передалъ мнѣ.

Я взялъ тетрадь и скоро простился съ нимъ. Въ тотъ-же вечеръ я принялся за рукопись. Меня поразило, что она была написана не ру-

кой Ивана, а чьей-то другой рукой... Я сталъ читать и пришелъ въ восторгъ... Это была замѣчательно талантливая вещь. Я былъ обрадованъ за моего пріятеля и рано утромъ спѣшилъ къ нему.

— Поздравляю... поздравляю тебя! Ты наконецъ написалъ прелестную вещь!

Ракушкинъ весь просіялъ. Глаза радостно блеснули... Румянецъ покрылъ его блѣдное исхудалое лицо.

Я подаль ему рукопись. Онъ взглянулъ на нее и вдругъ печально поникъ, точно ему объявили смертный приговоръ...

— Это не моя рукопись... Это рукопись одного молодого человѣка здѣсь въ больницѣ... Я далъ тебѣ ее по ошибкѣ, глухо прошепталъ онъ.

Я молча сидѣлъ, точно виноватый.

Наконецъ, онъ нѣсколько оправился и тихо сказалъ:

— Молодой человѣкъ читалъ мнѣ свою повѣсть. Я удивляюсь, что ты въ ней нашелъ особенно хорошаго!..

Я ничего не отвѣтилъ.

Черезъ нѣсколько времени бѣдный мой пріятель сталъ бредить и въ бреду рядомъ съ именами Бальзака, Тургенева и Толстого повторялъ имя Ивана Ракушкина.

Когда на другой день я пришелъ въ боль-

ницу, моего пріятеля уже не было на свѣтѣ. Онъ умеръ въ ту-же ночь и передъ смертью говорилъ своему сосѣду, что придетъ время, когда Россія оцѣнитъ произведенія Ивана Ракушкина.

Д О М А.



# Д о м а.

---

## I.

Василій Михайловичъ Ордынцевъ, худой, высокій, скромно одѣтый господинъ лѣтъ подь пятьдесятъ, съ длинной, окладистой, сильно по-сѣдѣвшей черной бородой, окаймлявшей болѣзненное желчное лицо, въ исходѣ пятого часа торопливо шелъ со службы домой, въ Офицерскую улицу, усталый, голодный и очень раздраженный.

Еще бы! Ордынцевъ только-что имѣлъ со-всѣмъ неожиданное непріятное объясненіе со своимъ патрономъ, предсѣдателемъ желѣзнодорожнаго правленія, господиномъ Гобзинымъ, одинъ видъ котораго приводилъ въ раздраже-

ніе впечатлительнаго и нервнаго до болѣзненности Василія Михайловича.

И его самодовольная до нахальства улыбка, сіявшая на жирномъ и кругломъ вульгарномъ лицѣ съ модной клинообразной бородкой à la Henri IV, и наглый взглядъ стеклянныхъ рачьихъ глазъ, и развязная самоувѣренность суждений, тона и манеръ вмѣстѣ съ его чуть не обритой круглой головой, до смѣшнаго кургузымъ вестомомъ и крупнымъ брилліантомъ на красномъ толстомъ мизинцѣ съ огромнымъ ногтемъ, и пренебрежительная любезность обращенія съ подчиненными, апломбъ и стараніе быть совсѣмъ свѣтскимъ джентльменомъ, нисколько не похожимъ на мужика-отца, который изъ мелкихъ рядчиковъ-плотниковъ сдѣлался милліонеромъ и финансовымъ крупнымъ тузомъ,—все это до нельзя было противно въ молодомъ, кончившемъ университетъ, Гобзинѣ, и Василій Михайловичъ старался какъ можно рѣже встрѣчаться со своимъ принципаломъ, ограничивая служебныя свиданія по обязанности самыми короткими дѣловыми разговорами.

Сегодняшнее свиданіе было особенно неприятно.

Одинъ ударъ электрическаго звонка въ маленькомъ кабинетѣ Ордынцева призывалъ его къ начальству въ ту самую минуту, когда Василій Михайловичъ собирался уходить домой



съ портфелемъ, полнымъ бумагъ,—просидѣвъ на службѣ, за спѣшной работой, лишніе полчаса. И вдругъ его зовутъ въ неурочное время!

«Что ему нужно? Долженъ, кажется, знать, что занятія кончаются въ четыре часа, и люди хотятъ ѣсть!»—подумалъ, раздражаясь, Ордынцевъ и, захвативъ портфель, отправился недовольный наверхъ, въ кабинетъ предсѣдателя правленія.

— Мы, кажется, не видались съ вами сегодня, Василій Михайловичъ, — любезно проговорилъ мягкимъ теноркомъ, растягивая слова, очень полный молодой человекъ, хлышеватаго вида, франтовски одѣтый, протягивая черезъ столъ свою красную пухлую руку съ короткими пальцами.—Покорнѣйше прошу присѣсть на минутку, Василій Михайловичъ. Пожалуста!—указалъ онъ на кресло.

— Что прикажете? — нетерпѣливо спросилъ Ордынцевъ тѣмъ оффиціально-служебнымъ тономъ, недопускающимъ никакой фамиллярности въ отношеніяхъ, какимъ онъ всегда говорилъ съ Гобзинымъ.

И не присѣлъ, а продолжалъ стоять.

— Господинъ Гороховъ вѣдь у васъ занимается?

— Да. Въ тарифномъ отдѣлѣ.

— Потрудитесь, Василій Михайловичъ, завтра объявить господину Горохову, что онъ намъ

болѣе не нуженъ. Ну, разумѣется, я велю выдать ему жалованье за два мѣсяца,—снисходительно прибавилъ г. Гобзинъ.

Измученный такимъ распоряженіемъ на счетъ скромнаго и трудолюбиваго Горохова, получающаго 75 р. въ мѣсяцъ, Ордынцевъ взволнованно спросилъ:

— За что вамъ угодно уволить Горохова?

Гобзинъ на секунду смутился. Дѣло въ томъ, что онъ обѣщалъ графинѣ Заруцкой непременно устроить какого-то ея протеже, необыкновенно польщенный, что молодая и хорошенькая аристократка обратилась къ нему съ просьбой. Мѣсть не было, и надо было кого-нибудь уволить, чтобы исполнить обѣщаніе, о которомъ она только-что напоминала письмомъ.

— У меня есть основанія!—значительно проговорилъ молодой человѣкъ послѣ короткой паузы.

И, принявъ видъ начальника, онъ пододвинулъ къ себѣ лежавшія передъ нимъ бумаги и опустилъ на нихъ глаза, какъ-бы давая этимъ понять Ордынцеву, что разговоръ оконченъ.

Но Ордынцевъ не намѣренъ былъ кончать. «Скотина!»—мысленно произнесъ онъ, чувствуя приливъ злости, и бросилъ взглядъ, полный презрѣнія, на круглую выстриженную рыжеволосую голову своего патрона. Взглядъ этотъ скользнулъ по письменному столу и замѣтилъ

на немъ письмо и рядомъ взрѣзанный изящный конвертикъ съ короной.

«Такъ вотъ какія основанія!» — сообразилъ онъ, еще болѣе возмущенный. На такихъ же «основаніяхъ» уже были уволены двое служащихъ съ тѣхъ поръ, какъ Гобзинъ-отецъ посадилъ на свое мѣсто сына.

И, видимо осиливая свое негодованіе и стараясь не волноваться, Василій Михайловичъ сдержанно проговорилъ:

— Но вѣдь Гороховъ спросить меня: за что его лишаютъ куска хлѣба? Что прикажите ему отвѣтить? Онъ четыре года служить въ правленіи. У него мать и сестра на рукахъ, Ардалионъ Петровичъ!—взволнованно прибавилъ Ордынцевъ, и мягкая, чуть не просительная нотка задрожала въ его голосѣ.

— У насъ не благотворительное учрежденіе, Василій Михайловичъ!—усмѣхнулся Гобзинъ.— У всѣхъ есть или матери, или сестры, или жены, или любовницы, — продолжалъ онъ съ веселой развязностью, оглядывая свои твердые, большіе ногти.—Это не наше дѣло. Намъ нужны хорошіе, исправные служащіе, а господинъ Гороховъ не изъ тѣхъ работниковъ, которыми слѣдуетъ дорожить... Онъ...

— Напротивъ, Гороховъ...

— Я попрошу васъ позволить мнѣ докончить, Василій Михайловичъ!—съ усиленно под-

черкнутой любезностью остановилъ Ордынцева предсѣдатель правленія, раздражаясь, что его смѣютъ перебивать.

И его жирное, круглое лицо мгновенно залилось ярко-багровой краской, а большіе рачьи глаза, казалось, еще больше выкатились.

— Вашъ господинъ Гороховъ,—продолжалъ онъ, все болѣе и болѣе проникаясь ненавистью къ Горохову именно отъ того, что чувствовалъ свою несправедливость,—вашъ господинъ Гороховъ небрежно относится къ своимъ обязанностямъ... Такъ ему и потрудитесь сказать... Очень небрежно! Нѣсколько дней кряду я встрѣчалъ его приходящимъ на службу въ двѣнадцать часовъ, вмѣсто десяти... Это терпимо быть не можетъ, и я удивляюсь, Василій Михайловичъ, какъ вы этого не замѣчали.

— Я отлично это зналъ.

— Знали?

— Еще-бы! Гороховъ позже являлся на службу съ моего разрѣшенія.

Молодой человекъ опѣшилъ.

— Съ вашего разрѣшенія?—протянулъ онъ безъ обычнаго апломба и видимо недовольный, что попалася въ просакъ.—Я этого не зналъ.

— Съ моего-съ. Я далъ ему большую работу на домъ и потому на это время позволилъ приходить позже на службу... Вообще я долженъ сказать, что Гороховъ отличный и добросовѣст-

ный работникъ, и увольненіе его было-бы не только вопіющею несправедливостью, но и большой потерей для дѣла.

Этотъ горячій тонъ раздражалъ Гобзина. Онъ, видимо, былъ сбитъ съ позиціи и нѣскольکو мгновеній молчалъ.

— Противъ господина Горохова есть еще обвиненіе!—живо проговорилъ онъ, точно обрадовавшись.

— Какое-съ?

— До меня дошли слухи, что онъ недавно былъ замѣшанъ въ какой-то исторіи, не рекомендующей его образъ мыслей...

— Сколько мнѣ извѣстно, хоть я, конечно, и не производилъ слѣдствія, — съ ядовитой усмѣшкой вставилъ Ордынцевъ, — ни въ какой такой исторіи Гороховъ замѣшанъ не былъ...

— Вы говорите, не былъ?—протянулъ Гобзинъ.

— Не былъ. А хотя-бы и былъ?—воскликнулъ Ордынцевъ. — Полагаю, что до этого намъ нѣтъ дѣла. Если Гороховъ не преслѣдуется и, слѣдовательно, признавъ невиновнымъ, то неужто частное учрежденіе можетъ его преслѣдовать? И, вдобавокъ, на какомъ основаніи? На основаніи какихъ-то слуховъ? Мало-ли какіе можно распустить слухи! Была бы охота у клеветниковъ!.. Васъ, очевидно, ввели въ заблужденіе, Ардаліонъ Петровичъ! Вамъ пошло и

глупо наврали на Горохова въ надеждѣ, что вы повѣрите...

И Ордынцевъ, взволнованный и взбѣшенный, не обращая вниманія на недовольную фізіономію патрона, продолжалъ горячо защищать сослуживца, не сдерживая своего негодующаго чувства.

Этотъ рѣзкій, горячій тонъ, совсѣмъ непривычный ушамъ Гобзина, избалованнымъ инымъ тономъ своихъ подчиненныхъ, и злилъ, и въ то же время невольнo дѣйствовалъ импонирующимъ образомъ на трусливую натуру молодого человѣка. Онъ понялъ, что сглупилъ, выставивъ, какъ обвиненіе противъ Горохова, слухи, которымъ и самъ не придавалъ ни малѣйшаго значенія, а упомянулъ о нихъ единственно изъ-за мелкаго самолюбія—настоять на своемъ. Да и слышалъ-ли онъ дѣйствительно что-нибудь про Горохова или внезапно сочинилъ про «слухи»—этого онъ не могъ бы точно сказать. Онъ очутился въ глупомъ положеніи, припертымъ къ стѣнѣ, и почувствовалъ еще большую ненависть къ Ордынцеву, позволившему себѣ читать нравоученія!

Съ какимъ бы наслажденіемъ онъ выгналъ немедленно со службы этого безпокойнаго человѣка, который относится къ нему, избалованному лестью и почетомъ, съ едва скрываемымъ неуваженіемъ! Но сдѣлать это не такъ-то легко.

Ордынцевъ пользовался въ правленіи репутаціей знающаго и превосходнаго работника. Самъ старикъ Гобзинъ, умный и понимающій людей мужикъ, рекомендовалъ Ордынцева новому предсѣдателю правленія какъ служащаго, которымъ слѣдуетъ особенно дорожить. Всѣ члены правленія цѣнили и уважали Василя Михайловича, а, главное, старикъ Гобзинъ не только не позволилъ бы уволить Ордынцева, но намылилъ бы еще голову сыну.

И Гобзинъ принужденъ былъ выслужать до конца своего подчиненнаго и объявить, что беретъ назадъ свое распоряженіе относительно Горохова.

Но онъ не удержался отъ желанія пустить шпильку и прибавилъ своимъ обычнымъ развязнымъ тономъ:

— Господинъ Гороховъ не родственникъ-ли вамъ, Василій Михайловичъ, что вы его такъ пылко защищали?

— А вы, видно, думаете, что пылко можно защищать только родственниковъ? — переспросилъ съ презрительной усмѣшкой Ордынцевъ, взглядывая въ упоръ на предсѣдателя. — Ошибаетесь. Онъ мнѣ не родственникъ. Имѣю честь кланяться!

И, еле кивнувъ головой, Ордынцевъ вышелъ изъ кабинета, оставивъ молодого человѣка въ безсильной ярости.

Возвращаясь домой, Василий Михайловичъ вспоминалъ только-что бывшее объясненіе, и невеселыя мысли лѣзли ему въ голову.

Теперь «это животное» навѣрное будетъ ему пакостить. Положимъ, имъ дорожать въ правленіи, но Гобзинъ можетъ вызвать на дерзость и сдѣлать службу невозможной. И безъ того она не сладка. Работы пропасть, и такой работы, которая не по душѣ, но по крайней мѣрѣ хоть заработокъ хорошій—четыре тысячи. Жить можно... Довольно ужъ онъ маялся и мѣнялъ мѣстъ послѣ того, какъ убѣдился, что изъ него ученый не выйдетъ... Вездѣ одно и то же... Та же ляпка... Здѣсь онъ ужъ четыре года ухитрился прослужить, хотя послѣдній годъ, когда выбрали предсѣдателемъ молодого Гобзина, у него и были непріятности. Онъ ихъ терпѣлъ, но не могъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, молчать при видѣ вопіющей несправедливости? Не могъ онъ не вступить за Горохова?

И хотя Ордынцевъ признавалъ, что иначе поступить не могъ, и былъ увѣренъ, что и впредь поступить точно такъ-же, тѣмъ не менѣе мысль о томъ домашнемъ адѣ, который усиливался во времена безработицы и неминуемо ждалъ его, въ случаѣ потери мѣста, приводила Василю Михайловича въ ужасъ и озлобленіе.

И чѣмъ ближе подходилъ онъ къ своей



квартирѣ, тѣмъ угрюмѣе и злѣе становилось его болѣзненное лицо.

## II.

Вотъ и «домъ».

Ордынцевъ быстро поднялся на четвертый этажъ и, отдышавшись, сильно дернулъ звонокъ.

— Обѣдаютъ? спросилъ онъ горничную, снимая съ себя пальто.

— Недавно сѣли.

«И подождать не могли!» — раздраженно прошепталъ Ордынцевъ.

Онъ прошелъ въ маленькую столовую и, нахмуренный, сѣлъ на свое мѣсто, на концѣ стола, противъ жены, между мальчикомъ-гимназистомъ и смуглой дѣвочкой лѣтъ двѣнадцати. По бокамъ жены сидѣли старшія дѣти Ордынцевыхъ: студентъ и молодая дѣвушка.

Горничная принесла тарелку щей и вышла.

— А что-же папѣ водки? — заботливо проговорила смуглая дѣвочка, оглядывая своими большими темными глазами столъ: — Забыли поставить?

И, вставъ, несмотря на строгій взглядъ матери, изъ-за стола, она достала изъ буфета графинчикъ и рюмку и, ставя ихъ передъ отцомъ, спросила:

— Наливать, папочка?

— Наливай, Шурочка!—смягчаясь, проговорилъ Ордынцевъ и ласково потрепалъ щеку дѣвочки.

Онъ выпилъ рюмку и принялся за щи.

— Совсѣмъ холодныя!—недовольно проворчалъ Василій Михайловичъ.

Никто изъ членовъ семьи не обратилъ особеннаго вниманія на замѣчаніе Ордынцева. Одна лишь любимица его, ласковая и привѣтливая Шурочка, заволновалась.

— Сію минуту щи разогрѣютъ... Хочешь, папочка? — сказала она, протягивая руку къ отцовской тарелкѣ.

— Спасибо, Шурочка, не надо. Ъсть хочется...

И Ордынцевъ продолжалъ сердито глотать щи съ жадностью проголодавашагося человѣка, а Шурочка, видимо обиженная за отца, съ недоумѣніемъ взглянула на мать.

Это была высокая и полная, сильно моложавая блондинка съ большими черными волоокими глазами, свѣжая, румяная и довольно еще красивая, несмотря на свои сорокъ два года. Но красота ея была несимпатична. Въ ней не было

ничего одухотвореннаго. Отъ ея неподвижнаго, классически правильнаго лица, съ нѣжной бѣлой кожей, едва подернутой желтизной, съ прямымъ римскимъ носомъ, чуть-чуть раздувающимися ноздрями, сжатыми губами и продолговатымъ подбородкомъ — вѣяло жесткимъ холодомъ и чопорной строгостью гордящейся своими добродѣтелями матроны, и въ то-же время въ немъ было что-то чувственное, напоминающее красивое, хорошо откормленное животное. Вся она, точно сознавая свое великолѣпіе, сіяла холоднымъ блескомъ и, видно было, очень цѣнила и холила свою особу.

На ней былъ черный джерсей, обливавшій пышныя формы ея роскошнаго бюста. У оголенной шеи блестѣла изящная брошка, въ ушахъ горѣли маленькіе брилліанты, а на холеныхъ бѣлыхъ рукахъ были браслеты и кольца. Густые бѣлокурые волосы, собранные сзади въ косу, вились у лба колечками. Отъ нея пахло душистой пудрой и тонкимъ ароматомъ ириса.

— Я думала, что ты не придешь обѣдать! проговорила, наконецъ, Ордынцева, взглядывая на мужа.

Въ тонѣ ея пѣвучаго контральто не звучало ласковой нотки. Взглядъ, брошенный на мужа, не былъ взглядомъ любящей жены.

— Ты думала? переспросилъ Ордынцевъ и въ свою очередь взглянулъ на жену.

Злое, ироническое выраженіе блеснуло въ его острыхъ и умныхъ маленькихъ сѣрыхъ глазахъ, глубоко сидящихъ во впадинахъ, и застыло на блѣдномъ и худомъ старообразномъ лицѣ. Все въ этой красивой, выхоленной, когда-то безгранично любимой женщинѣ раздражало теперь Ордынцева: и ея самодовольное великолѣпіе, и обтянутый джерсей, и какая-то тупость выраженія, и колечки на лбу, и голосъ, и кольца на рукахъ, и остатки пудры, замѣченные имъ на ея лицѣ, и подведенные глаза, и запахъ духовъ.

«Ишь рядится на старости лѣтъ, словно котка! Цаца какая!»—со злостью подумалъ онъ, отводя глаза.

И Ордынцева не могла простить мужу ошибки своего замужества по страстной любви. «Не та жизнь предстояла бы ей, красавицѣ, еслибъ она не вышла замужъ за этого человѣка!»—не разъ думала она, считая себя страдальцей и жертвой.

Она чуть-чуть пожала плечами и, принимая еще болѣе равнодушно-презрительный видъ, тихо и медленно выговаривая слова, замѣтила:

— Не понимаю, съ чего ты злишься и дѣлаешь сцены? Кажется, довольно ихъ!

Ордынцевъ молчалъ, занятый, казалось, ѣдой, но каждое слово жены раздражало его, напрягая и безъ того натянутые нервы.

А госпожа Ордынцева, хорошо зная чѣмъ пробрать мужа, продолжала все тѣмъ же тихимъ пѣвучимъ голосомъ:

— Мы ждали тебя до пяти часовъ. Ты не приходилъ, и я предположила, что ты, желая избавиться отъ нашего общества, пошелъ съ какимъ-нибудь изъ твоихъ друзей - литераторовъ, обѣдать въ трактиръ. Вѣдь это не разъ случалось!—прибавила она съ особеннымъ подчеркиваніемъ, хорошо понятнымъ Ордынцеву.

«Шпильки подпускаетъ... дура!» — мысленно выругалъ Ордынцевъ жену и съ раздраженіемъ сказалъ:

— Вѣдь ты знаешь, что я всегда предупреждаю, когда не обѣдаю дома! Вѣдь ты знаешь?

И, не дождавшись отъ жены признанія, что она это знаетъ, Ордынцевъ продолжалъ:

— Слѣдовательно, вмѣсто нелѣпыхъ предположеній, было бы гораздо проще оставить мнѣ горячій обѣдъ.

— Прикажешь дрова жечь въ ожиданіи, когда ты придешь? И безъ того отъ тебя только и слышишь, что выходитъ много денегъ, хотя, кажется, мы и то живемъ...

— Какъ нишіе?—иронически подсказалъ Ордынцевъ.—Ты вѣчно поешь эту пѣсню!

— А по твоему хорошо?—вызывающе кинула жена.—Едва хватаетъ на самое необходимое.

— Особенно ты похожа на нищую, бѣдная страдальца! — ядовито замѣтилъ Ордынцевъ, оглядывая злыми глазами свою великолѣпную супругу.—Но ужъ извини! На твои изысканные вкусы у меня средствъ нѣтъ...

И проговоривъ эти слова, Ордынцевъ принялся за жаркое.

— Экая мерзость! Даже и мяса порядочнаго не умѣютъ купить!

Ордынцева молчала, придумывая, что-бы такое сказать мужу пообиднѣе за его издѣвательства.

— А подкинуть два полѣна,—снова заговорилъ Ордынцевъ,—не Богъ знаетъ какой расходъ. Кажется, сообразить это не трудно. Или затруднительно, а?

Ордынцева была полна злобы. Лицо ея еще болѣе закаменѣло, и вся она какъ-то подобралась, словно кошка, готовая къ нападенію. Вмѣсто отвѣта, она подарила мужа убійственно-презрительнымъ взглядомъ.

— И часто ли я огаздываю? — продолжалъ Ордынцевъ, отодвигая тарелку.—Сегодня у меня была спѣшная работа, да и кромѣ того меня задержалъ этотъ идиотъ...

— Какой именно идиотъ? Вѣдь у тебѣ всѣ—подлецы и идиоты! Одинъ только ты необык-

новенный умница... Оттого, вѣроятно, ты и не можешь устроиться такъ, чтобы семья твоя не страдала отъ твоего необыкновеннаго ума!—съ какимъ-то особеннымъ злорадствомъ протянула Ордынцева, видимо очень довольная придуманной ею ядовитой фразой.

Но, къ удивленію жены, Ордынцевъ не вспылить, какъ она ожидала. Онъ удержался отъ сильнаго желанія оборвать жену, взглянувъ на умоляющее лицо Шурочки, и заговорилъ съ ней. Съ самага начала пикировки дѣвочка взволнованно, съ выраженіемъ тоски и испуга, переводила свои большіе, кроткіе глаза то на отца, то на мать, видимо боясь, какъ бы эти обоюдные язвительные намеки не окончились взрывомъ со стороны выведеннаго изъ терпѣнія отца, котораго дѣвочка страстно любила и за котораго стояла горой, понимая своимъ чуткимъ любящимъ сердцемъ, что мать къ отцу невнимательна и что она виновница всѣхъ этихъ сценъ, доводящихъ больного отца до бѣшеннаго раздраженія. Она видѣла, что всѣ какъ-то безмолвно за что-то осуждали его вмѣстѣ съ матерью, и тѣмъ сильнѣе его любила, умѣя, подчасъ, своей привѣтливостью и лаской разсѣять угрюмое расположеніе духа отца.

## III.

Остальные дѣти были, повидимому, совсѣмъ безучастны къ происходившему обмѣну колкостей между родителями.

Молодой студентъ Алексѣй, удивительно похожій на мать, красивый блондинъ, съ изящными, точно выточенными чертами лица, съ пробивавшимися усиками, чистенькій и свѣженькій, какъ огурчикъ, выстриженный по модному, подъ гребенку, въ форменномъ опрятномъ сюртучкѣ, необыкновенно солидный по виду, съ невозмутимымъ спокойствіемъ и съ какой-то торжественной серьезностью, точно дѣлалъ необыкновенно важное дѣло, очищалъ костянымъ ножомъ кожу съ сочной груши, стараясь не прихватить ножомъ мясистой части плода. Окончивъ это, онъ разрѣзалъ грушу на куски и сталъ класть ихъ въ ротъ своими опрятными, съ большими ногтями, пальцами съ противной медленностью гурмана, желающаго продлить какъ можно долѣе свое удовольствіе. На его лицѣ, на манерахъ, на всей его худощавой небольшой фигуркѣ лежалъ отпечатокъ чего-то самоувѣреннаго, опредѣленнаго и законченнаго, точно передъ вами былъ не двадцати-двухлѣт-



ній молодой человекъ, полный жажды жизни, а трезвенный, умудренный опытомъ мужъ съ выработанными правилами, для котораго всѣ вопросы рѣшены и жизнь не представляется трудной загадкой.

Сестра его Ольга, стройная, высокая, хорошо сложенная брюнетка, лѣтъ восемнадцати, съ бойкими темными глазками и капризно приподнятымъ носикомъ, одѣтая, какъ и мать, съ претензіей на модное щегольство, отличалась, напротивъ, самымъ беззаботнымъ и легкомысленнымъ видомъ хорошенькой, сознающей свою обворожительность, куколки, для которой жизнь представляется лишь однимъ веселымъ времяпрепровожденіемъ.

Взоръ ея разсѣянно перебѣгалъ съ предмета на предметъ, и мысль, очевидно, порхала, ни на чемъ не останавливаясь. Хорошенькая барышня то прислушивалась равнодушно къ словамъ отца, то взглядывала на мать, завидуя ея брошкѣ и красивому кольцу съ рубиномъ, то въ умѣ напѣвала мотивъ модной цыганской пѣсенки, то, отъ скуки, благовоспитанно зѣвала, прикрывая ротъ маленькой ручкой, съ бирюзой на мизинцѣ, который она какъ-то особенно выгибала, отдѣляя его отъ другихъ пальцевъ и давая ему разнообразные, болѣе или менѣе граціозные изгибы, сама любовалась своимъ крошечной мизинцемъ съ розовымъ ноготкомъ.

«Скорѣй-бы конецъ этимъ сценамъ!»—говорило, казалось, это подвижное, легкомысленное личико.

И она подумала:

«Съ чего они вѣчно грызутся? Папа, въ самомъ дѣлѣ, странный! Могъ-бы, кажется, зарабатывать больше, чтобы не раздражать маму... Когда она выйдетъ замужъ, она не позволитъ мужу стѣснять ее въ расходахъ и грубить!..»

Улыбка озарила лицо куколки. Мысль остановилась на одномъ господинѣ, который съ недавняго времени за ней ухаживалъ. Она знала, что ему сильно нравилась. Не даромъ-же онъ возитъ конфекты, достаетъ ложи въ театръ, какъ-то особенно значительно жметъ руки и, когда остается съ ней вдвоемъ, глядитъ на нее совсѣмъ глупыми глазами и все проситъ поцѣловать ручку. И мама говоритъ, что онъ подходящій женихъ и что надо быть съ нимъ любезнѣе, не позволяя ему ничего лишняго, а то эти нынѣшніе мужчины—порядочные подлецы! Она и безъ мамы это знаетъ, слава Богу, еще изъ гимназіи! Вчера, вотъ, онъ непременно хотѣлъ поцѣловать ладонь, такъ она отдернула руку и сдѣлала видъ, что очень разсердилась, и онъ просилъ прощенія... Чего, глупый, не дѣлаетъ предложенія? Тогда цѣлуй, какъ угодно! Она пойдетъ замужъ, хотя у него и вульгарное лицо, и прыщи на щекахъ, и вообще

ничего поэтического, и фамилія мовежанрная— Уздечкинъ... «Madame d'Ousdetchkine»... но зато онъ добрый и у него домъ... Неужели онъ будетъ цѣловать только руки и не сдѣлаетъ предложенія оттого только, что она, благодаря отцу, не имѣетъ никакого приданого!»

Недовольная гримаска смѣняетъ улыбку, и тонкіе пальчики капризно мнутъ хлѣбный катышекъ. Она сердита на отца, который не заботится о своей дочери. Но черезъ секунду-другую беззаботно-веселое выраженіе снова озаряетъ ея личико. «Она поступитъ на сцену... Непремѣнно! Всѣ говорятъ: талантъ! А со сцены можно сдѣлать отличную партію!»

Гимназистъ Сережа, съ неуклюже-вытянутой фигурой тринадцатилѣтняго подростка, съ испачканными чернилами пальцами и вихоркомъ, торчавшимъ на головѣ, съѣвши въ два глотка неочищенную грушу и пожалѣвъ, что нельзя съѣсть еще десятка, тотчасъ же, съ разрѣшенія матери, сорвался съ мѣста и вышелъ изъ столовой съ озабоченнымъ видомъ. Ему было не до семейной перебранки, къ которой онъ относился всегда съ презрительнымъ недоумѣніемъ. У него было дѣло несравненно важнѣй: надо было готовить уроки.

«Заставили бы ихъ зубрить, небойсь, бросили бы ругаться!»—высокомѣрно подумалъ гимназистъ и тотчасъ-же, собравъ книги и тетрадки,

засѣлъ за нихъ къ комнатѣ матери и, заткнувъ уши пальцами, сталъ долбить, съ добросовѣстностью перваго ученика въ классѣ, урокъ изъ географіи.

Ордынцевъ собирался-было встать изъ-за стола, какъ жена съ едва замѣтной тревогой въ голосѣ спросила, повидимому, довольно добродушно:

— Вѣрно у тебя опять вышла какая-нибудь исторія съ Гобзинымъ?

«Ужь струсила!» — подумалъ Ордынцевъ и самъ вдругъ, при видѣ всей своей семьи, струсилъ.

— Никакой особенной исторіи! — умышленно небрежнымъ тономъ отвѣчалъ Василій Михайловичъ. — Гобзинъ хотѣлъ было безъ всякой причины уволить моего подчиненнаго...

— И ты, разумѣется, счелъ долгомъ излить потоки своего благороднаго негодованія? — перебила жена и презрительно усмѣхнулась.

Этотъ тонъ взорвалъ Ордынцева. «Такъ, наже!» И онъ съ какимъ-то озлобленнымъ раздраженіемъ крикнулъ, вызывающе и злобно глядя на жену:

— А ты думала какъ? Конечно, заступился за человѣка, котораго эта скотина Гобзинъ хотѣлъ вышвырнуть на улицу! Да, заступился и отстоялъ Горохова!.. Тебѣ это непонятно?

— Благородно, очень благородно, какъ не

понять! Но подумалъ-ли ты, благородный человекъ, о семьѣ? Что съ ней будетъ, если Гобзинъ выживетъ такого непрошеннаго заступника?—произнесла Ордынцева трагически-мрачнымъ тономъ, при чемъ въ лицѣ ея появилась тревога.

— Не выживетъ. Не посмѣетъ...

— Не посмѣетъ!? — передразнила Ордынцева.—Мало-ли тебя выживали? Видно, какой-нибудь Гороховъ дороже семьи, иначе ты не дѣлалъ-бы подобныхъ глупостей... Всѣ... идиоты... Одинъ ты... необыкновенный человекъ... Скажите пожалуйста! Всѣ уживаются на мѣстахъ... одинъ ты не умѣешь... Какой геній! Опять хочешь насъ сдѣлать нищими?

— Не каркай! Еще Гобзинъ не думаетъ выживать... Слышишь?—гнѣвно воскликнулъ Ордынцевъ.

— Забылъ, что-ли, каково быть безъ мѣста?—умышленно, не слушая мужа, продолжала Ордынцева.—Забылъ, какъ все было заложено, и у дѣтей не было башмаковъ? Тебѣ, видно, мало, что мы и такъ живемъ по-свински... не можемъ никакихъ удовольствій доставить дѣтямъ... Ты хочешь, чтобы мы въ подвалъ переселились и ѣли черный хлѣбъ! — прибавила Ордынцева, взглядывая на мужа съ ненавистью.

## IV.

Василій Михайловичъ уже раскаявался, что его дернуло сказать объ этой исторіи. Вѣдь зналъ онъ эту «злую дуру»! Зналъ, что онъ совсѣмъ чужой въ своей семьѣ и что, кромѣ Шурочки, всѣ безмолвно противъ него и, не раздѣляя его взглядовъ, всегда держать сторону матери и смотрять на отца только какъ на дойную корову. Но, быть можетъ, теперь дѣти за него? Молодость чутка. И Ордынцевъ поднялъ на нихъ глаза, но вмѣсто сочувствія увидалъ испуганно-недовольное личико Ольги и невозмутимо-спокойное лицо первенца. Эта невозмутимость ужалила Ордынцева, и злобное чувство къ этому «молодому старику», какъ звалъ презрительно отецъ сына, охватило Ордынцева. Давно ужъ этотъ солидный юноша возбуждалъ его негодованіе. Они не сходились ни въ чемъ и точно говорили на разныхъ языкахъ. Старикъ-отецъ казался увлекающимся юношей передъ сыномъ. Отношенія ихъ были холодны и безмолвно-непріязненны. Они почти никогда не разговаривали другъ съ другомъ.

Но слабая надежда, что сынъ чувствуетъ правоту отца, заставила Ордынцева обратиться къ нему съ вопросомъ:

— Ну, а по-твоему, глупо—или какъ тамъ у васъ по-нынѣшнему?—раціонально или не раціонально поступилъ я, вступаясь за обиженнаго человѣка?

Тотъ пожалъ плечами. «Дескать, къ чему разговаривать?»

— Мы вѣдь не сходимся съ тобою во взглядахъ!—уклончиво замѣтилъ молодой человѣкъ.

— Какъ же, знаю! Очень не сходимся. Я—человѣкъ шестидесятихъ годовъ, а ты—представитель новѣйшей формациі... Гдѣ же намъ сходиться? Но все-таки интересно узнать твоё мнѣніе. Соблаговоли высказать.

— Если ты такъ желаешь, изволь.

И, слегка приподнявъ свою красиво посаженную голову и не глядя на отца, а опустивъ серьезные голубые глаза на скатерть, студентъ заговорилъ слегка докторальнымъ, спокойнымъ, тихимъ тономъ въ то время, какъ мать не спускала со своего любимца очарованнаго взора:

— Я полагаю, что Гобзина со всѣми его взглядами и привычками, какъ унаслѣдованными, такъ и пріобрѣтенными, ты не передѣлаешь, что бы ты ему ни говорилъ. Если онъ, съ твоей точки зрѣнія, скотина, то таковой и останется. Это его право. Да и вообще навязывать кому бы то ни было свои мнѣнія, по-моему, донкихотство и непроизводительная трата времени... Темперамента и характера, зависящихъ отъ фи-

зіологическихъ и иныхъ причинъ, нельзя измѣнить словами. Это, во-первыхъ...

— А во-вторыхъ? — иронически спросилъ отецъ.

— А во-вторыхъ, — такъ же спокойно и съ тою же самоувѣренной серьезностью продолжалъ молодой человѣкъ, — во-вторыхъ, та маленькая доля удовольствія, происходящая отъ удовлетворенія альтруистическаго чувства, какую ты получилъ, защищая обиженнаго, по твоему мнѣнію, человѣка, обращается въ нуль передъ той суммой непріятностей и страданій, которыя ты можешь испытать въ послѣдствіи и, слѣдовательно, ты же останешься въ явномъ проигрышѣ...

— Въ явномъ проигрышѣ?.. Такъ, такъ... Ну, а въ-третьихъ? — съ нервнымъ нетерпѣніемъ допрашивалъ Ордынцевъ, жестоко теребя свою бороду.

— А въ-третьихъ, если Гобзинъ имѣетъ намѣреніе выгнать, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, служащаго, то, разумѣется, выгонитъ. Ты, пожалуй, отстоишь Горохова, но Гобзинъ выгонитъ Петрова или Иванова. Такимъ образомъ, явится лишь перестановка именъ, а фактъ несправедливости останется. Кажется, очевидно? заключилъ Алексѣй.

— Еще-бы! Необыкновенно очевидно... совсемъ очевидно, — началъ-было саркастически-



холоднымъ тономъ Ордынцевъ, но не выдержалъ и въ негодованіи крикнулъ сыну:

— Фу, мерзость! Основательная мерзость, достойная лишь оскотинившагося эгоиста! И это въ 22 года!? Какими же мерзавцами будете вы, молодые старики, въ тридцать!?

И, бросивъ на сына взглядъ, полный презрѣнія, Ордынцевъ шумно поднялся съ мѣста и ушелъ въ кабинетъ, захлопнувъ сердито двери. Вслѣдъ за нимъ ушла и Шурочка съ глазами, полными слезъ.

— А ты, Леша, не обращай вниманія!—промолвила нѣжно мать.

Но молодой человѣкъ и безъ совѣта матери не обратилъ никакого вниманія на слова отца, и ни одинъ мускулъ не дрогнулъ на его физиономіи.

— Вотъ, всегда такъ. Спросить мнѣнія и выругается какъ извощикъ!—невозмутимо спокойно проговорилъ онъ, какъ бы про себя, ни къ кому не обращаясь, и, пожимая съ видомъ снисходительнаго сожалѣнія плечами, ушелъ къ себѣ въ комнату заниматься.

Поднялась и Ольга, но прежде, чѣмъ уйти, спросила:

— Мы поѣдемъ къ Алексѣевымъ, мама? У нихъ сегодня журъ-фиксъ.

— Пожалуй, поѣдемъ, если хочешь.

— Я, мама, надѣну свое сѣте... Хорошо?

— Какъ знаешь.

Ольга ушла повеселѣвшая, напѣвая вполголоса какой-то мотивъ.

Анна Александровна Ордынцева оставалась еще нѣкоторое время одна за столомъ, сумрачная и злобная. Опять она слушала оскорбленія! Опять этотъ человекъ глумился надъ ней! Не такая она женщина, чтобъ оставить оскорбленія безнаказанными. Она поговорить съ мужемъ съ глазу на глазъ, она припомнить ему все и скажетъ, какой онъ подлецъ передъ ней.. Она выместитъ обиду своей несчастной жизни, единственный виновникъ которой—онъ, этотъ злой, ненавистный человекъ. Изъ-за него она, страдальца, несетъ всю жизнь крестъ, и онъ же еще смѣетъ дѣлать сцены и оскорблять и ее и дѣтей!? Да, она отпоетъ ему!

И жесткая, злая улыбка появилась на холодномъ красивомъ лицѣ Анны Александровны, искрививъ ея тонкія алыя губы.

# РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ.



# Рождественская ночь.

## I.

Морозъ стоялъ жестокой,—настоящій сибирскій морозъ.

Безъ пощады охватывалъ онъ своимъ ледянымъ дыханіемъ лица, высовывавшіяся изъ за индевѣвшихъ шубъ, румянилъ щеки и носы, бѣлилъ инеемъ бороды и брови и поторапливалъ всѣхъ оканчивать свои дѣла и ѣхать домой, невольно навѣвая мысли о тепломъ углѣ.

Къ вечеру поднялась вьюга, ускоривъ наступленіе уличнаго затишья послѣ обычной предпраздничной суеты. Въ лавкахъ появлялись лишь рѣдкіе посѣтители, не успѣвшіе раньше приготовиться къ празднику, и улицы сибирскаго города *N* становились безлюднѣе.

Какая-то бѣлесоватая мгла, кружась, нависла

надъ городомъ, и среди этого снѣжнаго крутящагося вихря слабо мигали желтоватыми пятнами огоньки фонарей.

Вьюга злилась все болѣе и болѣе. Она бѣшено кидалась на дома, потрясала вывѣски и ставни, завывала въ трубахъ и, врываясь въ щели скверныхъ домишекъ, не давала пощады несчастнымъ обитателямъ непріютныхъ, холодныхъ угловъ и безжалостно терзала тѣхъ запоздалыхъ путниковъ, которыхъ нужда выгнала на улицу въ костюмахъ, далеко не соответствующихъ такой собачьей погодѣ.

Въ это самое время по Большой улицѣ быстро двигалась какая-то крошечная фигурка въ большой мѣховой шапкѣ, надвинутой на лобъ, въ легонькомъ дырявомъ азымчикѣ и въ пимахъ.

Судя по тому, что эта фигурка ежилась, словно бы стараясь умалить и безъ того маленькій объемъ своего тѣльца, по временамъ, то подпрыгивала, то пускалась вскачь и часто поправляла тряпицы, обмотанныя вокругъ шеи и, очевидно, исправлявшія должность шарфа, надо было полагать, что подъ рванымъ азымомъ не было ничего болѣе солиднаго, что могло бы согрѣвать это маленькое божье созданье, и оно принуждено было бороться съ вьюгой и сохранять животную теплоту посредствомъ гимнастическихъ упражненій.

Изъ щелки, оставленной между тряпицей и

шапкой, зоркіе глаза маленькаго человѣка замѣтили барыню, выходившую изъ освѣщеннаго магазина на другой сторонѣ улицы, и маленькая фигурка въ большой мѣховой шапкѣ, быстро проскакавъ черезъ улицу, очутилась возлѣ дамы.

— Барынька, барынька, добрая барынька! Подайте копѣчку бѣдному сироткѣ! проговорила, прыгая около дамы, садившейся въ сани, крошечная фигурка.

Закутанная въ шубу «барынька» можетъ быть и была «добрая», но не настолько однако, чтобы высунуть въ такую погоду руку изъ пушистой муфты и искать копѣчку для «бѣднаго сиротки», и потому она торопливо, словно стыдясь своего вранья передъ маленькимъ созданиемъ, просящимъ въ такую дьявольскую вьюгу копѣчки, проговорила, что «мелкихъ нѣтъ», и приказала кучеру поскорѣй ѣхать домой.

— Барынька, добрая барынька!...

Но сани тронулись, быстро скрывая «добрую барыньку» въ снѣжной непроглядной мглѣ.

— Сволочь! пустилъ ей тогда вслѣдъ осипшимъ тоненькимъ голоскомъ человѣчекъ въ большой шапкѣ тономъ, далеко не похожимъ на прежній, жалобный, а свидѣтельствовавшимъ, что и маленькому человѣчку не чуждо все человѣческое и выражавшимъ не столько досаду, сколько ребячій капризный задоръ обманутаго ожиданія.

Сорвавъ, такимъ образомъ, свое сердце, крошечная фигурка помчалась далѣе, стараясь галопомъ наверстать потерянные минуты и возстановить быструю циркуляцію крови.

Маленькій человѣчекъ уже болѣе не останавливался передъ магазинами, хотя и видѣлъ рѣдкихъ покупателей, выходявшихъ изъ дверей магазиновъ, а продолжалъ дуть во всѣ лопатки, пока не почувствовалъ, что заныло въ груди. Тогда онъ пошелъ тише, то схватываясь за грудь, то потирая руками лицо...

Онъ шелъ теперь глухимъ переулкомъ, подымаясь на Воскресенскую гору, какъ вдругъ яркій блескъ въ освѣщенныхъ окнахъ нижняго этажа привлекъ его вниманіе.

Онъ подбѣжалъ къ окну и остановился, видимо пораженный зрѣлищемъ. Яркій свѣтъ, падавшій изъ оконъ, освѣтилъ крошечную фигурку маленькаго мальчика, а спустившаяся тряпица открыла кусочекъ посинѣвшаго, худенькаго личика съ удивленно раскрытыми глазенками и широко разинутымъ ртомъ.

Зрѣлище въ самомъ дѣлѣ было удивительное.

Елка, большая, богато изукрашенная елка, стоявшая среди комнаты, сверкала залитая огнями и блескомъ. Чего-чего только не было на этомъ деревѣ, вѣтки котораго гнулись подъ тяжестью развѣшенныхъ яблоковъ и разнообразныхъ лакомствъ. Золотые орѣхи, блестящія кон-



фекты, пряники, игрушки, фонарики.... Весь этот блескъ, все это великолѣпіе невольно ослѣпляли мальчика, никогда не видавшего ничего подобнаго.

И онъ прильнулъ къ окну, разглядывая и елку, и кучу разряженныхъ дѣтей, прыгавшихъ вокругъ дерева подъ звуки фортепіано.

А леденящая вьюга насквозь пронизывала тшедушное, плохо прикрытое тѣло очарованнаго маленькаго человѣчка.

## II.

Чья-то рука, неожиданно опустившаяся на плечо мальчика, вызвала его изъ очарованья и заставила испуганно оглянуться.

Передъ нимъ стояла, вся вздрагивая и ежась, довольно странная мужская фигура, одѣтая со-всѣмъ не по сезону, въ кургузомъ пальто, съ какой-то легонькой фуражкой на головѣ. Голая шея выглядывала изъ подъ его легкаго одѣянія, и на ногахъ были какія-то калоши, замѣнявшія обувь.

При видѣ этого страннаго субъекта, мальчикъ хотѣлъ-было дать тягу, но цѣпкая рука удержала его за плечо.

— Хорошо, не бойсь, тамъ, на елкѣ? проговорилъ незнакомецъ, оглядывая, при свѣтѣ, падавшемъ изъ окна, не столько лицо мальчика, сколько его шапку. — Весьма недурно, а?.. Тепло и превосходно! Не то, что на улицѣ... засмѣялся онъ какимъ-то страннымъ смѣхомъ.

Мальчикъ со страхомъ смотрѣлъ на незнакомца, лицо котораго съ большой обледенѣвшей бородой и большими глазами, мрачно глядѣвшими изъ-подъ бѣлыхъ бровей, повидимому, не внушало ему большого довѣрія.

— Такъ, хорошо, а? продолжалъ незнакомецъ. — Ты что бы желалъ получить съ елки?

— Пустите меня, дяденька! проговорилъ мальчикъ.

— Пустите? А ты куда идешь?

— Домой.

— А гдѣ твой домъ?

— У дяденьки.

— Чѣмъ занимается твой дяденька?

— Посылаетъ меня милостыню собирать.

— Отлично. Значитъ, матери у тебя нѣтъ?

— Нѣтъ...

— И ты много сегодня собралъ?

— Сегодня, слава Богу.

— Покажи-ка — сколько...

Маленькій человѣчекъ хотѣлъ было снова юркнуть, но рука незнакомца еще крѣпче сжала его за плечо.

— Слушай, мальчикъ, что я тебѣ скажу. Если ты еще разъ вздумаешь бѣжать, я тебя... понимаешь? угрожающимъ голосомъ проговорилъ незнакомецъ. — Ну, теперь давай-ка свою выручку...

Испуганный мальчикъ повиновался и, доставши изъ-за пазухи столбикъ мѣдныхъ денегъ, завернутый въ тряпку, подалъ его незнакомцу.

— Тутъ все? проговорилъ тотъ.

— Все.

— Ты не врешь?

— Вотъ-те Христось, дяденька...

— Ну, хорошо, вѣрю! успокоительно замѣтилъ «дяденька», опуская деньги въ карманъ пальто.

Мальчикъ вдругъ зарыдалъ.

— Дяденька, дяденька, не берите... Меня дома, прибьютъ, если я не принесу денегъ... Дяденька, дяденька! лепеталъ мальчикъ.

— А ты скажи, что тебя ограбили...

— Все равно... Дяденька!..—молилъ мальчикъ.

Должно быть, мольбы ограбленнаго ребенка заключали въ себѣ что-то очень трогательное, потому что незнакомецъ вдругъ вытащилъ деньги изъ кармана и, отдавая мальчику половину, проговорилъ:

— Вотъ тебѣ половина, и дѣлу конецъ! А теперь, мальчикъ, бѣги скорѣй, а я пойду выпью за твое здоровье. Я тоже озябъ...

Маленькій человѣчекъ не заставилъ себя больше просить и стрѣлой полетѣлъ по переулку, а странный грабитель глядѣлъ ему вслѣдъ.

Вспомнилъ-ли онъ давно прошедшія времена, пожалѣлъ-ли онъ ограбленнаго нищенку,—но только что-то теплое прихлынуло къ его сердцу и онъ вдругъ крикнулъ:

— Мальчикъ! мальчикъ! Вернись!..

Но мальчикъ уже скрылся въ снѣжной мглѣ, и незнакомецъ тихо побрелъ въ ближайшій кабакъ.

А вьюга пуще злилась и завывала.

### III.

— Это—всего, язви тебя? грозно спрашивалъ пожилой человѣкъ съ угрюмымъ, недобрымъ лицомъ, когда мальчикъ, войдя въ маленькую отвратительную каморку и снявъ съ себя шапку и верхнее платье, подалъ, дрожа отъ холода и страха, свою выручку хозяину.

Теперь, безъ шапки и верхняго платья, этотъ человѣчекъ оказался совсѣмъ хилымъ, крошечнымъ созданиемъ, съ впалою грудью и съ ввалившимися грустными, испуганными черными

глазами. По росту ему нельзя было дать больше девяти лѣтъ, но его личико, окаймленное бѣлокурыми вьющимися волосами, казалось гораздо старше своихъ лѣтъ.

— Пятнадцать копѣекъ... въ этакой-то день! Гдѣ деньги? заревѣлъ хозяинъ, вскидывая пьяные глаза на вздрагивавшаго ребенка.

Мальчикъ сталъ рассказывать, какъ его ограбили, опустивъ, однако, въ своемъ рассказѣ остановку около дома съ елкой. Когда онъ кончилъ, хозяинъ поднялся, пошатываясь, съ своего мѣста, ударилъ въ грудь беззащитнаго ребенка и, потушивъ свѣчку, вышелъ вонъ, заперевъ двери снаружи на замокъ.

Мальчикъ ощупью добрелъ до своей убогой постели, бросился на соломенный тюфякъ, покрылся дырявымъ азымомъ и долго не могъ согрѣться и заснуть.

Наконецъ, онъ почувствовалъ, какъ жаръ охватилъ все его тѣло, и обрадовался... А въ маленькой груди пуще ныло, и кашель по временамъ раздиралъ ее...

Долго не засыпалъ онъ, и когда, наконецъ, заснулъ, чудный сонъ слетѣлъ къ изголовью мальчигъ.

Онъ видѣлъ блестящую елку. Онъ видѣлъ доброе, родное лицо матери, съ лаской глядѣвшее на него. Онъ чувствовалъ ея горячіе поцѣлуи и слышалъ ея нѣжный голосъ, шептав-

шій, что она скоро возьметъ его къ себѣ, и его никто не будетъ болѣе бить. Какія-то чудныя полосы лучезарнаго свѣта носились передъ нимъ, и дивные звуки невѣдомой музыки ласкали его слухъ.

А вьюга все пуще злилась и завывала, врываясь въ щели ветхаго домишки.

И когда свѣтъ того дня, который люди празднуютъ въ память рожденія великаго Страдальца, заглянулъ въ маленькое окно холодной комнаты, несчастный ребенокъ лежалъ, какъ пласть, на своей убогой постелькѣ.

Даже грозные окрики хозяина не могли поднять больного мальчика. Онъ пробовалъ-было встать, но беспомощно упалъ на постель, схватываясь худыми рученками за грудь.

И крупныя слезы тихо скатились по его воспаленнымъ щекамъ, точно онъ предчувствовалъ, что никогда ужь болѣе ему не придется кричать:

— Барынька, миленькая барынька! Подайте бѣдному сироткѣ!..

---

# ОРИГИНАЛЬНАЯ ПАРА.

(Разсказъ пріятеля.)

OPINTNHAJPHAR HAPA

(PASCHEE HARTON)



# Оригинальная пара.

---

## I.

Мнѣ окончательно опротивѣла жизнь въ мебелированныхъ комнатахъ съ ихъ неизмѣнными прелестями: какимъ-то, имъ свойственнымъ, прокислымъ запахомъ, постоянной сутолокой, звонками, хлопаньемъ дверей, съ присущимъ каждой мебелированной квартирѣ непремѣннымъ «безпокойнымъ жильцомъ», «на-дняхъ» уѣзжающимъ въ Ташкентъ и приводящимъ въ смущеніе своей свободой обращенія не только юркихъ, не особенно застѣнчивыхъ горничныхъ, но даже самую хозяйку — толстую, заспанную, перезрѣлую рижскую уроженку, отставную камелію средней руки, благоразумно промѣнявшую прежнюю профессію на профессію содержательницы шамбръ-гарни.

Я рѣшилъ искать болѣе тихое пристанище, въ видѣ комнаты «отъ жильцовъ», предлагаемой, какъ часто объявляютъ въ газетахъ, «скромнымъ, небольшимъ семействомъ одинокому молодому человѣку».

Долго шатался я по разнымъ комнатамъ, пока не набрелъ на подходящую. Комната была недорогая, свѣтлая, опрятная и—главное—единственная, отдаваемая жильцамъ. «Въ остальныхъ», объяснила мнѣ старая кухарка, «живутъ господа».

— Нѣмцы? спросилъ я, пораженный особенной чистотой.

— Что вы! Какіе нѣмцы? обидчиво возразила старуха.—Русскіе: мужъ да жена.

— Дѣтей нѣтъ?

— Какія дѣти!.. проговорила кухарка.—Дѣтей нѣтъ!

— Старики?

— Ну, нѣтъ... молодые!.. Комната преотличная... Всего недѣля только, какъ жилецъ съѣхалъ, чиновникъ, жениться собрался... Диванъ новенькій, мягкій (при этомъ она хлопнула ладонью по дивану), можно еще пару стульчиковъ прибавить...

— Васъ какъ звать?

— Степанидой люди зовутъ.

— Такъ я, Степанида, нанимаю комнату. Кому отдать задатокъ?

— Давайте хоть мнѣ, господь дома нѣтъ. А васъ какъ звать? Вы какіе будете?

— Зовутъ меня Иваномъ Петровичемъ... Бывшій студентъ!

Степанида еще разъ оглядѣла меня съ ногъ до головы, приняла задатокъ и примолвила:

— Только, Иванъ Петровичъ, чтобы шуму никакого не было... по ночамъ...

— На-счетъ этого не беспокойтесь, Степанида. Я самъ не люблю шуму...

— И вотъ что еще — ужь вы извините, батюшка, меня, старуху!—Вы... (она видимо стѣснялась сказать) вы... не пьете?

— Нѣтъ.

— То-то!.. добродушно обронила она, взглядывая своими ласковыми глазами.

— Да вы почему объ этомъ такъ спрашиваете? Развѣ нападали на пьяныхъ жильцовъ?

— Нѣтъ, слава Богу, этого не было... Но только... А ужь вы не сердитесь, пожалуйста!— закончила она, кланяясь и не давая отвѣта на мой вопросъ.

На другой-же день, уложивъ все свое имущество на извозника, я переѣхалъ на новую квартиру.

Послѣ шума меблированныхъ комнатъ, новая квартира показалась мнѣ просто раемъ. Тепло, уютно, опрятно, спокойно—ничто не мѣшало занятіямъ. Одно обстоятельство нѣсколько сму-

шало меня: рядомъ съ моей комнатой была жилая комната хозяевъ, но и этотъ страхъ близкаго сосѣдства прошелъ послѣ первыхъ-же дней. Ни шума, ни сценъ. Сосѣди, какъ кажется, вставали и ложились поздно, а я рано уходилъ изъ дому, и когда возвращался, снова была тишина. Иногда только женскій голосъ доносился изъ другихъ комнатъ мягкими звуками. Ложился я спать тоже среди полнѣйшей тишины, словно никого не было дома... Женскій съ контральтовыми нотами голосъ раздавался за стѣной только съ вечера. Ежедневно съ семи часовъ въ сосѣдней комнатѣ начиналось умываніе и одѣваніе: слышался плескъ воды, раздавались тихія вскрикиванія, затѣмъ начиналось шуршанье юбокъ. Когда туалетъ приходилъ къ концу, между сосѣдкой и Степанидой начинался обыкновенно разговоръ вполголоса. Степанидинъ голосъ, понижаясь все болѣе и болѣе, принималъ какой-то убѣждающій шопоть; въ отвѣтъ раздавались раздражительные отвѣты. Эта непонятная для меня бесѣда заканчивалась обыкновенно шумомъ юбокъ и громкимъ вопросомъ: «хорошо-ли сидить?» на что въ отвѣтъ получались одобрителныя восклицанія Степаниды: «Павушка... королева ты моя!» и т. п. Затѣмъ по коридору раздавались шаги, и мимо моихъ дверей проносился легкій шелестъ шелковаго платья; душистая

струйка врывалась въ мою комнату, затѣмъ хлопали дверями, и снова въ квартирѣ водворялась мертвая тишина.

Прошло двѣ недѣли, и мнѣ не случилось увидать своихъ хозяевъ. Признаться, они меня заинтересовали. Странное что-то было въ этой квартирѣ. Степанида вѣчно шепталась за стѣной съ хозяйкой, а во время ея отсутствія я нѣсколько разъ видѣлъ, какъ она, поджидая барыню, заливалась слезами, но всегда при моемъ появленіи отворачивалась, желая скрыть слезы... Среди ночной тишины по коридору шлепали, бывало, туфли; осторожной, робкой походкой проходилъ кто-то, и тогда въ коридорѣ начинался какой-то странный разговоръ. Мягкій, тихій мужской голосъ о чемъ-то упрашивалъ Степаниду, но она обыкновенно отвѣчала: «Нельзя, родной мой... ложись лучше спать». Но тихій голосъ такъ убѣдительно просилъ «Степаниду Матвѣевну», что старуха не выдерживала и, казалось, сдавалась на просьбы. «Ну изволь, только, смотри, сейчасъ-же ложись, чтобы она не видала!»—говорила она и вслѣдъ затѣмъ куда-то исчезала. Послѣ одного изъ такихъ разговоровъ я встрѣтилъ ее какъ-то на кухнѣ. Она только-что вернулась и подъ платкомъ что-то прятала, но, увидавъ меня, сконфузилась... Со мной Степанида не заговаривала

о хозяевахъ. Я не спрашивалъ. Разъ только, подавая самоваръ, Степанида закинула:

— Нашу видѣли?

— Нѣтъ. А что?

— Ничего. Я такъ. Полмѣсяца живете и не видали...

— Развѣ интересно?

— Какъ кому!—загадочно проговорила Степанида, обрывая разговоръ, несмотря на мои попытки продолжать его.

— А мужъ, видно, домосѣдъ?

— Да... читать любить... За книжками болѣе... Однако я съ вами болтаю, а у меня дѣло есть...

Съ тѣмъ и ушла.

Кажется, на другой или на третій день послѣ этого разговора я заработался что-то долго. Былъ четвертый часъ утра, когда раздался звонокъ и по коридору прошумѣлъ знакомый шелестъ платья... За стѣной раздался хохоть.

— Ну, раздѣвай меня, няня... Что, вамъ весело было?—произнесла хозяйка веселымъ голосомъ.

— Ахъ, Зоя Михайловна... И тебѣ не жаль его?

— Молчи, нянька... Онъ спитъ?..

— Врядъ-ли... Сама знаешь, до сна-ли...

— Дуракъ!—презрительно произнесла она.

Слышно было, какъ Степанида всхлипывала.

Шуршанье юбокъ смолкло.

— Жилецъ хорошъ собой, няня? — тихо продолжалъ голосъ.

— Нѣтъ.

— Тоже, кажется, такой-же дуракъ, какъ и нашъ!—весело засмѣялась хозяйка.

Голосъ ея понизился и снова раздался смѣхъ.

— Ну, няня, перекрести меня... да поцѣлуй...

За стѣной смолкло.

Я задремалъ... Вдругъ странный шумъ вблизи пробудилъ меня. Рядомъ, за стѣной, раздавался гнѣвный женскій голосъ, перешедшій въ крикъ. Кто-то бѣшено затопалъ ногами. На секунду водворилась тишина и вдругъ что-то свистнуло и — показалось мнѣ — раздался ударъ хлыста по чему-то мягкому... По комнатѣ торопливо пробѣжали...

Я вышелъ въ коридоръ.

У дверей сосѣдней комнаты стояла молодая женщина со свѣчей въ рукахъ... Я взглянулъ и изумился—такая она была красивая въ бѣломъ капотѣ, съ распущенными по плечамъ волосами. Что за прелестныя черты, несмотря на то, что онѣ были искажены гнѣвомъ! Въ лицѣ—ни кровинки, губы вздрагивали; грудь подымалась; всю ее точно подергивало. Голубые глаза съ расширенными зрачками блестя зловѣщимъ

блескомъ... Фигура стройная, гибкая... Въ рукѣхъ маленькій хлыстикъ, змѣйкой извивавшійся по бѣлому капоту...

На другой сторонѣ коридора, напротивъ, въ полутемнотѣ стояла маленькая мужская фигурка въ плохенькомъ халатѣ. Совсѣмъ молодой человекъ, худой, съ тонкими, изящными чертами красиваго лица и большими, темными, кроткими глазами. Эти кроткіе глаза сразу подкупили меня въ свою пользу, и вся его робкая фигурка показалась мнѣ необыкновенной симпатичной. Онъ растерянно, робкимъ, ласковымъ взглядомъ смотрѣлъ на женщину и какъ-бы умолялъ ее успокоиться... Въ лицѣ его было что-то дѣтское и глубоко-симпатичное...

Она бросила на меня быстрый, рѣзкій взглядъ, и быстро скрылась въ двери. А онъ какъ-то застѣнчиво взглянулъ и тихо сказалъ, улыбаясь кроткой улыбкой:

— Вы извините, мы нашумѣли, побезпокоили васъ... Видите-ли: мы заспорили и...

Онъ опять застѣнчиво взглянулъ и прибавилъ:

— Жена вспыльчивая... Всѣ добрые—вспыльчивые...

Онъ постоялъ, какъ-бы въ раздумьѣ, нѣсколько времени, и тихо побрелъ на кухню.



— Извините...—прошепталъ онъ еще разъ, проходя мимо.

Я вошелъ въ свою комнату, раздѣлся и легъ спать. За стѣной было тихо. Нервы мои были возбуждены, я ворочался съ бока на бокъ и долго не могъ заснуть... Мнѣ все слышались за стѣной сдержанныя рыданія.

## II.

Черезъ нѣсколько времени я познакомился съ молодымъ человѣкомъ. Это была замѣчательно кроткая душа. Онъ иногда захаживалъ ко мнѣ, бралъ книги и любилъ вести «теоретическіе» разговоры и при такихъ разговорахъ оживлялся; тогда его лицо дѣлалось еще милѣй. Говорилъ онъ, несмотря на васъ, а глядя куда-то вдаль, и точно говорилъ не вамъ, а разговаривалъ самъ съ собою; о женѣ онъ почти не говорилъ, а если случалось упоминать, то упоминалъ съ большимъ уваженіемъ.

По вечерамъ, когда жены не было, онъ въ своемъ неизмѣнномъ халатикѣ приходилъ, садился, сперва застѣнчиво озирался и долго молчалъ. Только нѣсколько времени спустя онъ

становился разговорчивѣе. Я любилъ его слушать. Говорилъ онъ съ какимъ-то восторженнымъ вдохновеніемъ. А то, бывало, зайдетъ онъ и остановится среди комнаты, задумается... Я любилъ въ это время смотрѣть на его задумчивое, кроткое лицо и всегда какая-то жалость сжимала мнѣ сердце... Лицо его было худое, подозрительный румянецъ игралъ на щекахъ, онъ часто кашлялъ, схватываясь своими тонкими руками за грудь, и кашель былъ такой скверный... И какимъ онъ чужимъ казался среди окружающей обстановки! Всегда одѣтъ плохо, совсѣмъ плохо; самъ, бывало, ставилъ самовары, чистилъ себѣ сапоги и добродушно ссорился по этому поводу со Степанидой, которая, казалось, любила его не меньше, чѣмъ свою барыню. И комнатка его совсѣмъ не похожа была на другія комнаты квартиры. Въ гостиной, столовой и еще какой-то полутемной, убранной въ турецкомъ вкусѣ, вездѣ была роскошь, изящество, масса дорогихъ бездѣлушекъ, цвѣты, картины, вездѣ замѣтна была умѣлая рука любящей комфорта женщины, а у него въ маленькой комнаткѣ, совсѣмъ позади, какой контрастъ! Письменный столъ, нѣсколько стульевъ, клеенчатый диванъ, на которомъ онъ спалъ, и книги... Книгами была завалена вся комната. Книги валялись на окнахъ, на столѣ, на диванѣ, на полу... Только большой, роскошный

акварельный портретъ жены въ дорогой рамкѣ висѣлъ надъ диваномъ и рѣзко выдѣлялся своимъ роскошнымъ видомъ. На портретѣ жена была замѣчательной красавицей, болѣе молодой, чѣмъ теперь; видно было, что портретъ снятъ раньше. Я и забылъ сказать: звали моего знакома Василюемъ Николаевичемъ Первущинымъ. Онъ былъ математикъ, опредѣленныхъ занятій не имѣлъ, по цѣлымъ днямъ копался въ книгахъ.

Однажды я зашелъ къ нему. Жены, по обыкновенію, не было дома. Смотрю—ходитъ онъ по кабинету и такое грустное, скорбное выраженіе въ его кроткихъ глазахъ... Онъ совсѣмъ сконфузился при моемъ появленіи, ну совсѣмъ растерялся... Я недоумѣвалъ, но скоро понялъ причину: на столѣ стоялъ на половину отпитый полуштофъ и рюмка...

— А жены дома нѣтъ!—проговорилъ онъ.— Она уѣхала... Женщина молодая, ей надо веселиться... правда?

Я что-то отвѣтилъ.

— Что ей дома-то сидѣть... Не скучать-же...

И онъ снова заходилъ.

— Я,—началъ онъ робко,—изрѣдка люблю, знаете-ли, немного выпить... Думается шире... мысли какія-то свѣтлыя такія идутъ въ голову. Вы этого не пробовали?..

— Нѣтъ.

— Право?.. А впрочемъ не пробуйте... Я все глупости говорю...

И онъ какъ-то неловко повернулся, свалилъ со стола рюмку, которая разбилась, и окончательно смѣшался и оробѣлъ...

Я отвернулся и долго смотрѣлъ на портретъ.

— Какъ вы его находите?—произнесъ онъ.— Не правда-ли, прекрасное лицо?.. Вотъ взгляните...

И онъ досталъ изъ стола еще нѣсколько портретовъ и подалъ мнѣ. Это все были фотографіи его жены, ихъ было, кажется, штукъ двадцать, снятыхъ въ разное время въ разныхъ позахъ и костюмахъ.

— Ну что?

— Фотографіи очень хорошія...

— Да... задумчиво какъ-то проговорилъ онъ,—хорошія, а вотъ я вамъ покажу другое лицо! — сказалъ онъ и при упоминаніи объ этомъ лицѣ его собственное лицо какъ-то вдругъ прояснилось, стало свѣтлѣе, и въ глазахъ засвѣтился какой-то чудный лучъ глубокой любви.

Онъ досталъ большую фотографію и подалъ мнѣ. Это былъ портретъ молодой женщины, необыкновенно симпатичной. Что-то знакомое промелькнуло мнѣ въ этихъ чудныхъ чертахъ необыкновенно милаго, нѣсколько строгаго лица. Я посмотрѣлъ на Василія Николаевича и догадался:

— Это ваша сестра?

— Да, — улыбнулся онъ. — Мы похожи!.. Къ несчастію, только лицами! — добавилъ онъ. — Чудная душа! Ахъ, какая это душа, если бъ вы знали!

Когда онъ заговорилъ о ней, я залюбовался на него. Такое благоговѣніе было въ его лицѣ!..

— Я ее увижу... непременно. Нельзя-же... надо, наконецъ... — вдругъ проговорилъ онъ, думая, по обыкновенію, вслухъ. — Я разужнаю адресъ...

Въ это время раздался звонокъ.

Первущинъ видимо оробѣлъ. Онъ быстро спряталъ портреты, убралъ со стола водку и испуганно взглянулъ на меня.

— Который часъ?.. — проговорилъ онъ.

— Двѣнадцать.

— Какъ рано!.. — обрадовался онъ и видимо стѣснялся моимъ присутствіемъ.

Я хотѣлъ было уйти, какъ около раздались легкіе шаги и на порогѣ появилась моя сосѣдка. Она была гораздо красивѣе чѣмъ тогда, когда я видѣлъ ее въ первый разъ. Шикарное шелковое платье ловко обхватывало ея стройный станъ; изъ-подъ роскошной шляпки выбивались бѣлокудряя пряди; лицо было оживлено и казалось свѣжѣе отъ горѣвшаго на щекахъ румянца. Она вся улыбалась и внесла за собой какой-то неуловимый, щекотавшій нервы аро-

мать. Замѣтивъ меня, она отвѣтила на мой поклонъ самымъ граціознымъ, любезнымъ кивковъ хорошенькой головки. Во всѣхъ ея движеніяхъ сказывались грація и тактъ свѣтской женщины.

— Я просто въ восторгѣ отъ Паска!—проговорила она, обращаясь къ мужу.—Что за прелесть актриса! какой умъ, какая игра! Однако, ты, Вася, разсѣянный какой... Ты насъ не знакомишь?—указала она на меня и подошла ко мнѣ, проговоривъ:—Зоя Михайловна Первушина.

Я назвалъ свое имя.

О первой встрѣчѣ ни пол-слова.

— Ну, пойдете, господа, пить чай... Иди-же, Вася... Ты здоровъ?..

Онъ кротко такъ взглянулъ на нее и отвѣчалъ:

— Здоровъ, Зоя... здоровъ, что мнѣ дѣлается?

Мы пили чай въ столовой. Зоя Михайловна говорила безъ умолку. Она видимо находилась подъ впечатлѣніемъ пьесы и игры. Василий Николаевичъ съ любовью слушалъ жену, и когда она дѣлала особенно удачныя замѣчанія, онъ значительно покачивалъ головой и смотрѣлъ на меня, будто желая сказать: видите-ли, какая она умная и хорошая.

Однако скоро она умолкла и веселое расположеніе духа исчезло. На лицо налетѣла какая-

то тѣнь. Она смолкла и задумалась. Первушинъ безпокойно взглядывалъ ей въ лицо. Я поспѣшилъ уйти.

### III.

Прошло мѣсяца два. Я рѣдко видалъ своихъ новыхъ знакомыхъ. Первушинъ почти не заходилъ и не звалъ меня къ себѣ. За стѣной было совсѣмъ тихо, и по вечерамъ я уже не слыхалъ обыкновенныхъ разговоровъ хозяйки со Степанидой. Оказалось, что спальня была переведена въ другую комнату.

Степанида по обыкновенію помалчивала. Разъ какъ-то, когда я спросилъ о здоровьѣ Василя Николаевича, она отвѣтила, что онъ нездоровъ. По грустному лицу доброй старухи я догадывался, что тамъ опять было неладно.

— Что съ нимъ?

— Кашляетъ все.

— Бѣдный.

— Ну и она, моя голубушка, тоже бѣдная.

— Хороша бѣдная! замѣтилъ я,—веселится, бѣгаетъ изъ дому, а онъ чуть не на ладонь дышетъ.

— Молчите, коли не знаете! разсердилась старуха.

— Да нечего и знать... Вы-то что такъ заступаетесь?

— Я-то? Да вѣдь я вынянчила Зоюшку. Крѣпостная еще ихняя была. Какъ-же мнѣ не заступаться... И кто-же за нее заступится, за безталанную!..

На старомъ лицѣ Степаниды видна была глубокая скорбь, а въ словахъ звучала такая теплая нотка, что я не могъ не засмотрѣться на ея доброе лицо.

— Да ты что на меня уставился? спросила Степанида, вдругъ начиная говорить мнѣ «ты».

— Ничего... Тоже и его жалко.

— А то какъ-же... Такая душа и...

Она не договорила и махнула какъ-то безнадежно рукой.

Однажды я сидѣлъ у себя въ комнатѣ, какъ вошелъ Первушинъ. Онъ совсѣмъ осунулся и похудѣлъ еще болѣе. Онъ былъ не въ халатѣ, какъ обыкновенно, а въ потертомъ черномъ сюртукѣ, подаль руку и заходилъ по комнатѣ. Я замѣтилъ въ немъ какую-то странную рѣшимость, вовсе неидущую къ его робкому виду. Онъ ходилъ и говорилъ въ полголоса:

— Она зоветъ... Уйду. Надо-жь, наконецъ... Я не позволю... все, что хочешь, но не касайся сестры. Она святая... Я этого не переносу.

Онъ остановился, странно оглянулся вокругъ



и вдругъ замолчалъ. Видимо, ему хотѣлось поговорить, но онъ чего-то стѣснялся.

— Знаете-ли что... началъ-было онъ и замахалъ рукой, какъ-то печально улыбаясь. — Не то!.. У васъ есть вино? вдругъ спросилъ онъ.

— Нѣтъ.

— Нѣтъ—и не надо. Рѣдко двѣ половинки сходятся... Уравненіе, въ которомъ  $x$  равенъ... чему  $x$  равенъ?

— Пойдемте-ка, Первушинъ, прогуляемтесь лучше.

— Въ самомъ дѣлѣ, пойдемте,—обрадовался онъ.—Но какъ-же шапка?

— Какая шапка?

— Моя! робко замѣтилъ онъ.—Она у Степаниды, у этой доброй души, которая всю свою жизнь отдала другимъ, но стережетъ мою шапку.

— Такъ я возьму ее.

Я вышелъ изъ комнаты и пошелъ въ кухню. Когда я попросилъ у Степаниды шапку Василя Николаевича, она спросила: «зачѣмъ, куда теперь идти... первый часъ!» Но когда я настаивалъ и сказалъ, что мы идемъ гулять вмѣстѣ, она пошла къ барынѣ, скоро вернулась оттуда, дала мнѣ шапку и маленькую записочку отъ Зои Николаевны. Въ этой записочкѣ женскимъ неразборчивымъ почеркомъ были написаны слѣдующія строки: «Вино губельно для

здоровья мужа; Бога ради не угощайте его и удержите. Онъ и безъ того слабъ».

Я вернулся и когда вошелъ въ комнату, Перушинъ спросилъ:

— Достали?

— Вотъ она! отвѣчалъ я.

— Такъ идемте. Скорѣй только.

Мы вышли на улицу. Ночь была тихая, лунная, славная. Слегка морозило. Однако, мой сосѣдъ плотно кутался въ свое худенькое пальто и задыхался.

— Вамъ тяжело? Поѣдемте, вонъ и извощикъ.

— Тяжело? Всѣмъ тяжело! какъ-то задумчиво отвѣчалъ онъ,—а извощику еще тяжелѣй. Нѣтъ, нѣтъ, пройдемтесь... Я рѣдко нынче хожу. Видите, какая славная ночь, какъ красива луна, и какъ жить хочется. Вы знаете легенду, почему она поблѣднѣла передъ солнцемъ? А звѣзды? Знаете-ли, бываютъ минуты, когда хочется говорить... ужасно какъ хочется, а я вообще мало говорю... о себѣ, то-есть...

— Да вы не спѣшите такъ, Василий Николаевичъ, вамъ вредно.

— А я развѣ спѣшу? усмѣхнулся онъ, умѣряя шаги.—Когда-то я спѣшилъ надѣть шлемъ, но вмѣсто него надѣлъ на голову тазъ, который гораздо болѣе подходитъ къ моей фигурѣ. Но... Наташа зоветъ... иная жизнь... Къ чорту эти книги... Что въ нихъ?..

Онъ какъ-то странно замахалъ руками и закашлялся.

— Пойдемте куда-нибудь въ трактиръ. У васъ есть деньги?

— Есть, пойдемте.

Мы вошли въ трактиръ, заняли отдѣльную комнату и заказали ужинъ.

Первушинъ спросилъ водки и сразу выпилъ двѣ рюмки. Я-было замѣтилъ, что это нездорово, но онъ только добродушно усмѣхнулся.

— Вѣрно Степанида сокрушалась и секретничала объ этомъ съ вами? Добрая! Она на меня какъ на ребенка смотритъ. Напрасная забота... Я вотъ еще рюмку дерну,—усмѣхнулся онъ, наливая еще рюмку,—и Степанида ничего не сдѣлаетъ.

Вино быстро дѣйствовало на Василія Николаевича. Онъ оживился. Его глаза заискрились лихорадочнымъ блескомъ и онъ, улыбаясь кроткой, чудной улыбкой, быстро, точно боясь, что не успѣетъ, началъ мягкимъ, тихимъ, надтреснутымъ голосомъ:

#### IV.

— Только не думайте, Бога ради, голубчикъ, что я жалуясь. Я не жалуясь; жаловаться

глупо да, собственно говоря, по совѣсти не на что. Развѣ можетъ жаловаться звѣзда, что она свѣтитъ менѣе ярко, чѣмъ солнце? Мало-ли разной твари на свѣтѣ погибаетъ? Я просто хочу говорить и... буду говорить. Надоѣсть вамъ, остановите—я не обижусь. Я вообще не обижаюсь.

Онъ кротно улыбнулся и продолжалъ:  
— Женщина, говорятъ, въ жизни играетъ не малую роль. И я начну съ женщины. Вы догадываетесь, что я говорю о Зоѣ? Встрѣтились мы съ ней случайно. Надо вамъ сказать, что до этого я ни съ одной женщиной не сходилъ близко и, признаться, побаивался ихъ, то-есть не то, чтобъ боялся, — это, пожалуй, не то выраженіе,—а испытывалъ нѣчто вродѣ благоговѣйнаго ужаса, вродѣ того, я думаю, какой испытали островитяне, увидавъ впервые дѣйствіе пушекъ. Я любовался ими издали, незамѣтно, и не боялся только двухъ женщинъ на свѣтѣ — мать и сестру Наташу. Еще надо сказать, что я былъ застѣнчивъ и робокъ (да и теперь тоже), а къ тому-же напуганъ матерью. Добрая! Она страшно меня любила и вѣрно потому для нея каждая недурненькая дѣвушка, заходившая къ намъ, была заклятымъ врагомъ, если только я обращалъ на нее какое-нибудь вниманіе. По словамъ матери, каждая дѣвушка (кромѣ Наташи, конечно), недурная

собой, была сиреной, подходить къ которой гибельно и опасно для молодого человѣка, особенно такого «глупенькаго», какимъ она нерѣдко называла своего любимаго сына.

А бракъ она рисовала всегда такими мрачными красками, особенно, когда Наташи не было въ комнатѣ, что, по ея мнѣнію, тотъ молодой человѣкъ, который женится, дѣлаетъ непростительную глупость и непременно погибнетъ. На этотъ счетъ у нея была даже своя собственная теорія, и когда она говорила на эту тему,—а тема эта была ея любимымъ конькомъ,—то говорила съ замѣчательнымъ діалектическимъ мастерствомъ. Она меня находила такимъ совершенствомъ, что ей казалось, будто всѣ барышни имѣютъ на меня виды, а она этого боялась. Понятный эгоизмъ у бѣдной, крайне несчастливой съ отцомъ.

Я съ дѣтства росъ у юпки матери, и какъ я любилъ эту славную юпку! Сколько радостей она мнѣ дала, сколько хорошаго, честнаго слышалъ я изъ устъ матери, прижимаясь къ этой самой юпкѣ! Мать нельзя было назвать очень образованной женщиной, но она была умна и кротка безконечно. Мы съ ней почти не разлучались. Смѣшно сказать: до шестнадцати лѣтъ я спалъ у нея въ комнатѣ. Любила она меня съ тѣмъ страстнымъ эгоизмомъ, съ которымъ способна любить только мать; она старательно

отдаляла отъ меня всякіе, какъ она называла, соблазны, окружала меня попеченіями, думала за меня въ житейскихъ дѣлахъ и точно поставила задачей жизни держать меня какъ можно далѣе отъ житейскихъ дразгъ. Я проводилъ время за книгами и въ обществѣ матери и сестры. Я много учился, много читалъ и былъ совершеннѣйшее дитя въ жизни; любой деревенскій мальчуганъ десяти лѣтъ имѣлъ болѣе житейскаго опыта и характера, чѣмъ вашъ покорный слуга въ двадцать лѣтъ.

Отецъ сперва на это сердился, потомъ махнулъ рукой. Мать была кроткая, но упорная женщина. Вы знаете эти женскія тихія натуры, которыя сопротивляются молча? Что съ ними сдѣлаешь? Къ тому-же отецъ сознавалъ нравственное превосходство матери. Онъ былъ всеѣмъ другой человекъ. Гордился своей фамиліей (все гербы изъ герольдіи доставалъ) и былъ ростовщикомъ, то-есть не имѣлъ кассы ссудъ, нѣтъ, а давалъ деньги подъ векселя за огромные проценты. Это я узналъ уже позднѣе, отъ сестры; сестра очень мучилась этимъ, да и мать какъ-то пугливо смотрѣла на отца. Всѣ его чуждались, и онъ, какъ кажется, гдѣ-то на сторонѣ свилъ себѣ другое гнѣздо и рѣдко бывалъ съ нами.

Чудная душа была Наташа! Такой правдивой души я не встрѣчалъ болѣе. Ее всѣ ува-

жали, даже отецъ; слово Наташи считалось внѣ сомнѣній. Какъ-бы въ противоположность мнѣ, она обладала независимымъ характеромъ и замѣчательной силой воли. Къ ней точно перешли упорство отца и кротость матери. Съ матерью она была дружна, но не была подъ ея вліяніемъ; она много читала, много думала. Ей въ то время было двадцать пять лѣтъ. Вы видѣли ея портретъ? Хорошенькой ее нельзя назвать, да это названіе и не шло-бы къ ней; ее какъ-то совѣстно было назвать хорошенькой. Въ ней была особенная, строгая красота. Лицо спокойное, сосредоточенное, черные глаза умные и кроткіе. Странная дѣвушка! Изъ такой породы, я думаю, была Шарлота Корде.

Бывало, она начнетъ говорить, — говорить такъ тихо, а сама блѣдная, губы побѣлѣютъ. Очень ужъ близко принимала она къ сердцу всякую неправду и ложь. Мать не такъ любила ее какъ меня. Наташа не умѣла ласкаться и не жалась къ юпкѣ матери никогда. Обо мнѣ Наташа часто сокрушалась. «Ты, Вася, какой-то блаженный, Богъ тебя знаетъ!» говорила она, сидя у меня въ комнатѣ. Я любилъ все объяснить, взвѣсить, разсортировать; она жила болѣе чувствомъ; я боялся людей, она — напротивъ; я любилъ кабинетъ и спокойствіе; она не любила кабинетныхъ занятій; я всегда колебался; она рѣшала быстро... Она закаливала

себя, чтобъ не быть «барышней», какъ она говорила; только она не считала себя еще готовой ѣхать въ деревню и быть тамъ учительницей. Она совѣтывала мнѣ чаще бывать въ обществѣ товарищей, но я всегда дичился, робѣлъ, конфузился, какъ-то страшно было. Она крѣпко любила меня!

Я былъ на четвертомъ курсѣ, когда случилась наша встрѣча съ Зоей,—именно случилась. Я даже теперь помню число, когда мы познакомились: это было четырнадцатаго ноября. Мы поѣхали втроемъ въ клубъ.

Я застѣнчиво бродилъ подъ руку съ сестрой по заламъ и съ какимъ-то страннымъ чувствомъ глядѣлъ кругомъ. Я былъ въ клубъ въ первый разъ. Въ залѣ было душно; у меня кружилась голова отъ жара и женскихъ оголенныхъ плечъ. Послѣ «тетрадокъ» и вычислений, я смотрѣлъ на женскія лица съ жадностью и любопытствомъ двадцати-трехлѣтняго болвана, прикованнаго къ юпкѣ. Онѣ всѣ казались мнѣ красивыми, милыми и... страшными. Мнѣ такъ хотѣлось подойти къ нимъ и въ то-же время я зналъ, что я ни за что-бы не рѣшился на такой шагъ. Я вздрагивалъ, когда проходилъ близко женщины, и вмѣстѣ съ тѣмъ жадно вдыхалъ этотъ одуряющій душистый ароматъ, который исходилъ отъ нихъ.

Глядя по сторонамъ въ этой пестрой толпѣ,



я нечаянно толкнулъ какую-то даму, проходившую мимо. Я пробормоталъ извиненіе, взглянулъ на нее и обомлѣлъ. Вы видѣли ее? Не правда-ли, она хороша? Ну, а три года тому назадъ она была еще лучше. Мое искреннее изумленіе, кажется, понравилось ей. Она привѣтливо улыбнулась и пристально взглянула на мое смущенное лицо. Сестра дернула меня за рукавъ, и мы пошли далѣе.

— А ты, Первущинъ, совсѣмъ сталъ слѣпымъ! нагналъ насъ одинъ изъ моихъ товарищей, бывавшихъ у насъ.—Я тебѣ кланяюсь, а ты ничего не видишь!

Я извинился.

— Съ тобой, братъ, желаетъ познакомиться та дама, на которую ты такъ заглядѣлся! проговорилъ онъ тихо.

Я растерялся совсѣмъ и принялъ его слова за шутку.

— Безъ шутокъ, Первущинъ. Какія шутки! Эхъ, ты, красная дѣвица!.. Если хочешь, такъ отведи сестру и приходи къ буфету, я буду ждать.

Я отвелъ сестру къ матушкѣ и хотѣлъ отойти, но она пытливо взглянула и спросила: «куда?» Я вспыхнулъ и въ первый разъ въ жизни раздражился. «Я не маленькій!» отвѣтилъ я и пошелъ.

Торопливо прошелъ я черезъ толпу и нашелъ товарища.

— Ну, пойдёмъ! взялъ онъ меня за руку.— Тебя ждуть. Да что съ тобою? Ты дрожишь?

Я, дѣйствительно, вздрагивалъ, точно въ лихорадкѣ, отъ волненія и застѣнчивости; очень ужъ страшно было.

А мы ужъ подходили, я это чувствовалъ. Вонъ она сидитъ на диванѣ. Я рѣшился удрать. Я-было рванулъ руку, но было поздно.

— Вотъ та красная дѣвица, съ которой вы хотѣли познакомиться, Зоя Михайловна. Позвольте вамъ представить ее: Василій Николаевичъ Первушинъ.

— Очень рада! проговорила она, протягивая руку, которую, помню, я какъ-то странно-крѣпко пожалъ.—Садитесь. Вотъ сюда... на диванъ.

Я совсѣмъ растерялся. Она смотрѣла въ упоръ своими блестящими, смѣющимися глазами. Я стоялъ около, какъ пень, и не двигался съ мѣста.

— Вы, какъ я посмотрю, разсѣянный. Садитесь-же подлѣ... вотъ такъ.

Товарищъ куда-то ушелъ, и мы заговорили,—вѣрнѣе, она говорила. Что такое говорила она, я, ей-богу, не помню, но помню, что она хотала громко, показывая блестящіе зубы, глядѣла на меня подзадоривающимъ взглядомъ, который сводитъ съума подростковъ и стариковъ, и наклонялась къ самому лицу такъ близко, что я сторонился. Скоро, однако, она бро-

сила эту манеру. Она какъ-будто подтянулась и стала относиться ко мнѣ серьезно, съ какою-то доброю ласковостью старшей сестры. И глаза ея, большіе синіе глаза, перестали смѣяться.

Вы вообразите себѣ неловкаго, застѣнчиваго, неопытнаго юношу, голова котораго набита «тетрадками», рядомъ съ блестящей, красивой молодой женщиной—и вы поймете, что въ ту пору я изображалъ изъ себя довольно забавную фигуру. Я почти не раскрывалъ рта и мнѣ хотѣлось убѣжать скорѣй. Но вдругъ на меня нашла какая-то отвага, именно отвага отчаянія, и я сталъ говорить. Я говорилъ, что я студентъ, что буду профессоромъ, что дамъ не люблю, что въ клубъ въ первый разъ, и она съ такимъ вниманіемъ, не прерывая, слушала мою болтовню, что когда я спохватился, мнѣ сдѣлалось стыдно, и я замолчалъ.

— Продолжайте, продолжайте, — тихо проговорила она.—Что-жь вы замолчали?

Но я говорить уже болѣе не могъ.

— Что-же вы? тихо переспросила она, ласково дергая меня за руку.

— Я... я... не могу!.. проговорилъ я.

Въ это время мимо проходилъ какой-то изящный молодой офицеръ. Онъ кивнулъ моей дамѣ съ такой фамильярностью, что я побагровѣлъ; она отвѣчала тѣмъ-же. Онъ, смѣясь, подошелъ къ ней и, нагнувшись такъ близко къ шеѣ, что

губы почти касались ея, началъ шептать. Она расхохоталась и, указывая на меня, отрицательно покачала головой, шутливо ударивъ его по рукамъ вѣромъ. Офицеръ отошелъ и, отходя, замѣтилъ, смѣясь:

— Новый экземпляръ?

Она кивнула головой и обернулась въ мою сторону. По всей вѣроятности, лицо мое было глупо до послѣдней степени, потому что вдругъ она взяла меня тихо за руку и съ умоляющимъ выраженіемъ спросила:

— Что съ вами?

Я отвѣчалъ, что мнѣ жарко... усталъ...

— Это былъ мой братъ! неловко проговорила она, угадавъ вѣроятно мое настроеніе.

— Братъ? переспросилъ я и радостно вздохнулъ.—Какъ онъ на васъ не похожъ.

— Да... не похожъ... Куда-жь вы?

Мнѣ даже слышался въ этомъ вопросѣ испугъ.

— Пора... меня дожидаютъ мать и сестра...

— И вы бѣжать? Оставайтесь...

— Нѣтъ!.. Да... лучше пустите!

Я говорилъ какой-то вздоръ, а она слушала его съ непонятнымъ мнѣ участіемъ.

— Ну хорошо, я васъ пушу, но только съ условіемъ! сказала тихо она.—Мнѣ бы не хотѣлось, чтобы наша ваша встрѣча была послѣдней, Василій Николаевичъ, и если вы не прочь

поскучать у меня, заѣзжайте ко мнѣ. По утрамъ я всегда дома до трехъ...

Она сказала адресъ.

— Приѣдете? снова спросила она, задерживая мою руку.— Не забудете адреса?

— Еще-бы! сказалъ я и такъ пожалъ ея руку, что она чуть не вскрикнула.

Я быстро уходилъ отъ нея въ какомъ-то чадуду. Странное ощущеніе испытывалъ я: не то страхъ, не то восторгъ. Точно я только-что ходилъ по краю пропасти и мнѣ хотѣлось снова пройтись. Я припоминалъ ея лицо, слова.

— Гдѣ это ты пропадалъ, Вася? спросила меня мать, по обыкновенію, ласково, позабывъ мой рѣзкій отвѣтъ.

— Мы были съ товарищемъ...

— А мы тебя искали! замѣтила Наташа.

— Не пора-ли, дѣти, ѣхать?

— Ахъ, нѣтъ, подождемте, мама... Еще рано! сказалъ я. Мать ревниво взглянула на меня и замѣтила:

— Ну хорошо. Мы останемся еще, но только не болѣе часу. Ты, впрочемъ, какъ хочешь. Кажется, здѣсь особеннаго веселья нѣтъ, Наташа?

Сестра молча согласилась съ матушкой.

Передъ отъѣздомъ мнѣ еще разъ хотѣлось взглянуть на Зою Михайловну и я пошелъ ее отыскивать. Проходя по столовой, я увидалъ ее.

Она сидѣла рядомъ съ офицеромъ и громко хохотала; передъ ними стояла бутылка шампанскаго. Я поторопился пройти, но мнѣ показалось, что она меня замѣтила и... и сконфузилась.

Въ швейцарской, когда мы надѣвали шубы, ко мнѣ подбѣжалъ мой товарищъ и, какъ-то скверно шуря глаза, замѣтилъ:

— Ты, Первущинъ, счастливецъ!

— То-есть, какъ это?

— Очень просто. Что это ты такимъ агнцемъ представляешься? Ты Зоѣ Михайловнѣ понравился. Она любитъ такихъ... зеленыхъ.

И онъ засмѣялся гадкимъ смѣхомъ.

— Только,—продолжалъ онъ,—ты не зѣвай, а прямо...

— Что ты говоришь? какъ ты смѣешь такъ говорить?

— Ха, ха, ха!.. Да вѣдь Зоя Михайловна — кокотка!

Я такъ схватилъ его за руку, что онъ поблѣднѣлъ и страшно-испуганно взглянулъ на меня.

— Если ты еще одно слово... я ударю тебя!

Съ этими словами я бросился вонъ изъ швейцарской на подъѣздъ. Тамъ я нашелъ своихъ и мы уѣхали.

— Кокотка? Не можетъ быть. Онъ лжетъ! повторялъ я нѣсколько разъ и долго не могъ заснуть.

## V.

Первушинъ, несмотря на мои увѣщанія, выпилъ еще двѣ рюмки и продолжалъ:

— Прошло двѣ недѣли со времени нашей встрѣчи, а я не рѣшался идти къ Зоѣ Михайловнѣ. По правдѣ говоря, я ходилъ къ ней каждый день, но доходилъ только до ея квартиры, а звонить не осмѣливался. Съ какой стати я приду къ ней? Онъ такъ, изъ любезности, просила бывать, мало-ли просятъ, а я вдругъ... Нѣтъ, ни за что!

Съ такими мыслями обыкновенно я сходилъ печальный съ лѣстницы и возвращался домой.

«Тетрадки» мнѣ надоѣли. Чтеніе показалось такимъ скучнымъ. Между строкъ книги незамѣтно для меня появлялось молодое, красивое лицо. Я закрывалъ глаза, желая подолѣе удержать въ памяти дорогой образъ, и такъ просиживалъ подолгу.

Мать волновалась и тревожно всматривалась въ меня, но я отговаривался нездоровьемъ.

Прошла еще недѣля, и я снова началъ ходить на лекціи, хотя, признаюсь, Зоя болѣе всѣхъ профессоровъ занимала мое вниманіе. Какъ-то, при входѣ въ университетъ, швейцаръ

подалъ мнѣ маленькую записочку; я взглянулъ на почеркъ, и сердце екнуло; я сразу догадался, отъ кого она. Стало страшно. Я осторожно разорвалъ конвертъ и прочиталъ приглашеніе Зои зайти къ ней.

Нечего и говорить, что я тотчасъ поѣхалъ.

— И не стыдно вамъ? ласково покорила она, подавая обѣ руки.

Она посмотрѣла мнѣ прямо въ глаза. Суровая морщинка на лбу сгладилась. Она вся просіяла.

— Отчего-жь такъ долго?

Въ отвѣтъ я говорилъ какую-то чепуху.

Зоя была въ отличномъ расположеніи духа. Она говорила безъ умолку, смѣялась, трунила надъ моей застѣнчивостью, потомъ показала свое помѣщеніе. Квартира была не велика, но убрана роскошно; особенно хорошъ былъ ея будуаръ.

— Какая роскошь! невольно сорвалось у меня.

Зоя вдругъ покраснѣла. Она, блестящая, изящная, красивая, стояла передо мной съ видомъ виноватаго школьника. Слезы стояли въ ея глазахъ.

— Пойдемте въ гостиную! тихо замѣтила она, взявъ меня за руку.

— Что съ вами, Зоя Михайловна? Вы... плачете? Я чѣмъ-нибудь обидѣлъ васъ?.. О, простите меня!



— Я? Съ чего вы это взяли? Я не плачу и вы меня не обижали! проговорила она, смѣясь.— Вы, Василій Николаевичъ, какъ видно, мало знаете женщинъ... Я просто нервная женщина, вотъ и все...

Она снова разговорила. О себѣ почти не говорила или говорила очень мало, коротко, скорѣе намеками, но за то спрашивала обо мнѣ, о моихъ занятіяхъ, о матери и сестрѣ...

Я, къ удивленію, развернулся и свободно отвѣчалъ на ея вопросы. Особенно много говорилъ о сестрѣ и описывалъ ей Наташу съ восторженностью влюбленнаго брата.

Она слушала, но подъ конецъ мои восторженные описанія произвели на нее, кажется, тяжелое впечатлѣніе. Когда я рассказывалъ о матери, Зоя задумалась и лицо ея сдѣлалось такое грустное, что я остановился...

— Нѣтъ, нѣтъ... говорите... Не обращайтесь на меня вниманія... Я люблю *это* слушать... Такъ рѣдко со мною говорятъ...

Мы простились друзьями. Она взяла съ меня слово не забывать ея.

Я, разумѣется, былъ влюбленъ, какъ только могъ быть влюбленъ застѣнчивый впервые влюбленный юнецъ.

— Заходите-же, Василій Николаевичъ, прошу васъ... Знаете-ли что? Я съ вами становлюсь лучше...

— Да развѣ вы можете быть еще лучше? восторженно воскликнулъ я.

Она вспыхнула до ушей, какъ маленькая дѣвочка, и взглянула съ такимъ кроткимъ, умоляющимъ выраженіемъ, что мнѣ стало жутко.

— Зоя Михайловна! Что съ вами?... У васъ есть горе?.. Скажите...

— Нѣтъ... ничего, ничего... До свиданія, мой добрый...

И она крѣпко пожала мою дрожавшую руку. Я сталъ ходить къ Зоѣ чаще и чаще и, наконецъ, сталъ просиживать у нея по цѣлымъ днямъ. Часто я читалъ вслухъ, она слушала, сидя за работой. А то, бывало, она сядетъ за рояль и начнетъ пѣть; славный у нея тогда былъ голосъ! Теперь она ужъ не поетъ. Нечего и прибавлять, что отношенія наши были самыя чистыя. Я смотрѣлъ на нее съ благоговѣніемъ влюбленнаго и тайлъ любовь про себя. А она? Она просто была неузнаваема. Куда дѣвались ея прежняя манера, ея рѣзкія выраженія, громкій смѣхъ, смѣющийся, жуткій взгльдъ ея, полуоткрытые костюмы? Она стала какая-то тихая, спокойная, робкая и даже застѣнчивая; платья носила самыя скромныя. Она стыдливо краснѣла, если нечаянно обнажался ея локоть или открывалась шея. Она быстро поправляла рукавъ или воротникъ и, точно маленькая, готова была расплакаться,

если, казалось ей, я бывалъ не въ духѣ. Глядя на нее, я считалъ ее самой скромной и цѣломудренной женщиной на свѣтѣ.

Она умѣла хорошо рассказывать. Изъ того немногаго, что она рассказывала тогда о себѣ, я зналъ только, что она кончила курсъ въ институтѣ, жила долгое время за границей и что отецъ и мать ея живутъ въ провинціи. О нихъ она говорить не любила и разъ на вопросъ мой о томъ, часто-ли она переписывается съ матерью, отвѣчала какъ-то неохотно. Она любила вспоминать жизнь за границей. Италія на нее произвела большое впечатлѣніе; она тамъ училась пѣть, мечтала о карьерѣ артистки, все, казалось, складывалось удачно, но...

— Но,—уныло добавила она,—вышло совсѣмъ не такъ.

Больше она ничего не сказала. Я, разумѣется, не спрашивалъ.

Обыкновенно я просиживалъ у нея до обѣда; къ обѣду возвращался домой. Всѣ были увѣрены, что я былъ на лекціяхъ.

Но мать чуяла что-то недоброе и замѣтно волновалась. Обыкновенно спокойная, ровная, она стала раздражительна, пытливо всматривалась въ мое лицо и отворачивалась неудовлетворенная. Чаше стала она говорить на тему о женскомъ коварствѣ, вызывая обычную добро-

душную улыбку на лицѣ Наташи. Нерѣдко по вечерамъ она тихо подходила къ моей комнатѣ, чуть-чуть пріотворяла двери и заглядывала, нерѣшаясь войти. Я звалъ ее. Она хитрила, объясняя какимъ-нибудь пустымъ предлогомъ необходимость зайти въ мою комнату и тревожно справлялась о моемъ здоровьѣ. Когда я отвѣчалъ, что здоровъ, она, по обыкновенію, обхватывала мою шею руками и, заглядывая мнѣ въ глаза, пытливо спрашивала:

— Правда?

Но, несмотря на утвердительный отвѣтъ, въ ея добрыхъ, нѣжныхъ глазахъ замѣтна была тревога. Она грустно качала головой и тихо уходила изъ комнаты.

Наташа, очевидно, замѣтила, что я измѣнился, но дѣлала видъ, что ничего не замѣчаетъ, а между тѣмъ я часто ловилъ на себѣ ея безпокойный взглядъ. Наташа не спрашивала; не въ ея манерѣ было мѣшаться въ «чужія дѣла», какъ она говорила.

Разъ только, когда у насъ зашелъ споръ—она очень любила «теорическіе» споры—о пожертвованіи во имя долга, и я горячо доказывалъ, что тяжеле всего пожертвовать чувствомъ къ женщинѣ, Наташа взглянула пристально на меня и тихо, совсѣмъ тихо прошептала:

— Ужъ не влюбился-ли ты, Вася?

— Что за вздоръ! отвѣчалъ я, вспыхивая.

— То-то! строго замѣтила сестра.—Ты—натура несчастная. Полюбишь—пропадешь! Помнишь наши бесѣды? Какъ ни тяжело, а приходится побороть чувство, если не хочешь только для себя одного жить!

Она говорила это спокойно, просто, и глубокое убѣжденіе звучало въ ея словахъ. Слова ея не шли въ разрѣзъ съ дѣломъ. Она—я узналъ отъ нея послѣ—въ это время сама переживала тяжелую борьбу. Она любила, но отказалась отъ счастія любви. Любимый человѣкъ не откликнулся на ея зовъ, не шелъ туда, куда звала его Наташина вѣра.

Хотя Наташа и говорила, что надо «побороть чувство», но тонъ ея голоса, безпокойные взгляды—все подсказывало мнѣ, что она и сама не вѣрила, что я способенъ на такое самопожертвованіе.

«Ты какой-то Василій блаженный!» называла она меня нерѣдко.

И точно я «блаженный», это слово идетъ ко мнѣ. Ни силы, ни воли! Такъ, куда меня бросало, тамъ я и закисалъ. Мечтатель какой-то. Къ деньгамъ я чувствовалъ полное равнодушіе, честолюбія никакого, не знаю, есть-ли и самолюбіе. Я больше скорбѣлъ, но рѣдко возмущался, Жалости много было во мнѣ, а энергии никакой. Трусость какая-то! Иной разъ прочтешь книгу—плачешь, а робѣешь передъ вся-

кимъ человѣкомъ, высказывающимъ рѣшительно и съ ампломбомъ такія мнѣнія, за которыя можно краснѣть. И дуракъ-дуракомъ стоишь передъ нимъ.

«Изъ тебя археологъ, пожалуй, выйдетъ! грустно шутила, бывало, Наташа.—Очень ужь ты всего боишься!»

Она рвалась на подвигъ, а я? — я малодушно сочувствовалъ и усиленно зарывался въ книжки, точно въ нихъ укрывался отъ страха передъ жизнью.

Я продолжалъ навѣщать Зою и съ каждымъ днемъ привязывался къ ней сильнѣе. Я трусилъ ея блестящей красоты и любилъ ея съ робостью и страстью первой любви. Она умѣла быть всегда милой, казалось, понимала меня и пугалась, что я мало занимаюсь, но я наверстывалъ время по вечерамъ, а дни мы проводили какъ два наивные, смѣшные любовника.

Мы старались какъ можно болѣе говорить; молчанія боялись и даже вспыхивали, взглядывая другъ на друга, точно намъ было стыдно, что оба мы были молоды и страсть невольно бросала яркій румянецъ на наши щеки. Особенно я боялся и, вѣроятно, боялся оттого, что такъ часто хотѣлось броситься къ ней, цѣловать ея лицо, руки. Кровь стучала въ виски словно молотомъ, я стремительно отодвигался и ходилъ по комнатѣ, считая себя преступ-

никомъ, за то что во мнѣ были такія «нечистыя» желанія... Это ей, кажется, нравилось и вмѣстѣ съ тѣмъ сердило ее. Помню я, какъ-то разъ сидѣли мы молча. Я глупо смотрѣлъ на ея шею и вздрагивалъ. «Что съ вами?» спросила она, надвигаясь на меня и заглядывая черезъ плечо близко, совсѣмъ близко къ лицу. Ее горячее, неровное дыханіе обжигало меня, и я просто замеръ отъ страха, оробѣлъ совсѣмъ и глупо бросился въ сторону, какъ спуганная птица. Зоя какъ-то странно, даже сердито усмѣхнулась и закусила губы, а я, считая себя какимъ-то недостойнымъ ея негодяемъ, жалостно глядѣлъ кругомъ, ища шапку, и малодушно убѣждалъ. Послѣ этого я нѣсколько дней не смѣлъ къ ней придти.

Въ одинъ изъ такихъ дней я былъ въ театрѣ и послѣ спектакля долго бродилъ по улицамъ въ какомъ-то особенно счастливомъ настроеніи. Мнѣ думалось въ эти минуты, что я не совсѣмъ чужой Зоѣ. Я вспоминалъ ея слова, ея ласковые взгляды, улыбки, тихое пожатіе рукъ и вспомнилъ о себѣ. «Вотъ, Первущинъ, и на твоей улицѣ праздникъ! Знай нашихъ!» повторялъ я. Я всегда былъ мнителенъ и недоувѣрчивъ къ себѣ, а тутъ вдругъ я почувствовалъ какую-то отвагу и гоголемъ шелъ по улицамъ. Я проходилъ въ это время по Большой Морской, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Бо-

реля, какъ вдругъ слышу знакомый голосъ и шаги на лѣстницѣ. Я поспѣшилъ. Мимо меня проходила Зоя подъ руку съ какимъ-то полковникомъ. Но та-ли это Зоя? Она висѣла на рукѣ у полковника, громко хохотала и, показалось мнѣ, была пьяна. Полковникъ, нисколько ни стѣсняясь, усаживалъ ее въ карету. Я подвинулся еще ближе, и, казалось мнѣ, она узнала меня. Карета покатила, но мнѣ послышался изъ кареты крикъ.

Я остолбенѣлъ. Я не помню, какъ я провелъ эту ночь, знаю только, что вернулся домой утромъ. Бѣдная мать не спала, дожидаясь меня, и при видѣ меня ужаснулась; должно быть, у меня былъ растерянный видъ, вдобавокъ я былъ безъ фуражки.

— Вася, что съ тобой, родной мой, скажи?

— Ахъ, мама, не спрашивайте!.. оставьте меня! сухо отвѣчалъ я.

Она раздѣла меня, уложила спать и, по обыкновению, перекрестила. Я спать не могъ; горячія, обильныя слезы смачивали подушку, и когда мать пришла ко мнѣ и, присѣвъ на кровать, молча стала ласково гладить меня по головѣ, я припалъ къ ея чудной рукѣ и, обливаясь слезами, робко признался, что люблю... женщину.

На мать это открытіе произвело ужасное впечатлѣніе.



— Кто она, кто эта скверная женщина, которая погубила тебя? спросила она.

— Она, мама, не скверная... И зачѣмъ вамъ имя?... Все равно... все кончено.

Но, по правдѣ сказать, сердце мнѣ подсказывало, что далеко не все кончено. Я непременно хотѣлъ видѣть эту «скверную» женщину. Я вытерпѣлъ недѣлю, но дольше терпѣть не могъ и пошелъ къ ней.

Степанида, какъ всегда, отворила мнѣ двери и пропустила въ гостиную. Зоя лежала на диванѣ. Увидавъ меня, она радостно вскрикнула и бросилась ко мнѣ, но когда я подошелъ поближе, она поблѣднѣла и остановилась, какъ вкопанная.

— Что съ вами?.. Вы нездоровы?.. на васъ лица нѣтъ! спросила она.

Я шелъ съ намѣреніемъ сказать слова упрека, но какой тутъ упрекъ! Она не смѣла взглянуть на меня и стояла, опустивъ голову, словно виноватая. Съ минуту длилась эта тяжелая сцена.

— Вы видѣли?.. едва слышно проговорила она, не поднимая глазъ.

— Видѣлъ! еще тише и еще робче отвѣтилъ я.

— И вы все-таки... пришли? сказала она съ такимъ чувствомъ благодарности, что я больше не могъ...

Я зарыдалъ и припалъ къ ея рукѣ...

— Ты меня любишь?

— Развѣ ты не видишь!..

— Меня? переспросила она совсѣмъ упавшимъ голосомъ.

— Тебя!..

— Знаешь-ли ты, кто такая я?

— И знать не хочу... ты для меня...

— Я вѣдь содержанка... я—продажная женщина! вдругъ вскрикнула она, отталкивая меня.

Но подите-же! Если-бы она сказала что-нибудь еще хуже, что мнѣ за дѣло? Я все такъ же любилъ.

— Я люблю тебя, Зоя, а ты? робко осмѣлился спросить я.

— Смѣю-ли я?.. воскликнула она, обливаясь слезами радости и бросаясь ко мнѣ на шею.— Я давно люблю тебя... ты такой хорошій! застѣнчиво шептала она.—Господи, какое счастье!..

То были счастливые дни...

Зоя совсѣмъ измѣнилась. Она покончила съ прошлымъ, бросила старыя знакомства, продала всѣ свои брилліанты и перебралась на маленькую, скромную квартиру. Любила она меня съ какою-то страстной нѣжностью; въ этой любви была нѣжная забота матери и страсть любовницы. Она ухаживала за мной, какъ за ребенкомъ, угадывала малѣйшее желаніе, старалась согнать съ моего лица всякую тѣнь и няньчилась со мной, какъ съ любимымъ дитятей. Я

снова попалъ съ рукъ матери на руки любовницы. Опять отъ меня уходили куда-то всякія житейскія дразги. Никакая забота не должна была меня касаться. «Тебѣ надо заниматься!» говорила Зоя, отстраняя всѣ мелочи, и изъ моего кабинета сдѣлала какую-то святыню. Бывало, она входила ко мнѣ не иначе, какъ на ципочкахъ. И какая веселая была она въ то время!

Я и позабылъ сказать, что, по моимъ настояніямъ, мы обвѣнчались. Свадьба была самая тихая. Ни отца, ни матери не было на свадьбѣ; была одна Наташа. Она только разъ и видѣла Зою—онѣ другъ другу очень не понравились—и скоро послѣ моей свадьбы исполнила свою завѣтную мысль—уѣхала въ деревню.

Я и теперь удивляюсь, вспоминая мою рѣшимость дѣйствовать наперекоръ желаніямъ отца и матери.

Мать разузнала про Зою и съ какимъ-то ужасомъ говорила о ней, не называя никогда по имени; въ ея глазахъ такія женщины—развратныя, скверныя, падшія женщины, прикосновеніе къ которымъ сквернитъ человѣка. Она не считала ихъ способными на чувство и называла лицемѣрками, губящими людей. Добрая, чуткая, нѣжная, она въ отношеніи къ женщинамъ, уклоняющимся отъ дороги добродѣтели, была безжалостна и жестка и не признавала въ нихъ

ничего, никакой хорошей черты; все въ нихъ, по ея мнѣнію, ложь и развратъ и нѣтъ для нихъ достойнаго наказанія! Сама крайняя идеалистка, несмотря на то, что ея чувство было помято самымъ жестокимъ образомъ, мать съ пуританской строгостью исполняла свой долгъ, какъ она называла, и, отдаваясь нелюбимому человѣку,—въ отцѣ она сильно разочаровалась и не любила его давно!—считала себя «вѣрной долгу» и имѣющей право относиться безъ сожалѣнія къ тѣмъ женщинамъ, которыя «торгуютъ любовью». Странное противорѣчіе! скажете вы. Но въ ней это было логично, естественно, понятно.

Когда я объявилъ матери о моемъ намѣреніи, она просто замерла.

— На ней? На этой?..

— Мама,—перебилъ я ее,—не оскорбляйте ее хоть при мнѣ. Она хорошая женщина. Она такъ меня любитъ!

— Вася, милый мой... опомнись... еще есть время!

И она стала уговаривать меня, умолять, рисовать печальную участь.

Но видя, что ничего не помогаетъ, она ожесточилась и болѣе ни слова объ этомъ не говорила, и просила, какъ милости, никогда при ней ни слова не упоминать объ «этой женщинѣ».

Съ тѣхъ поръ бѣдная мать зачахла и на другой день моей свадьбы уѣхала за-границу, гдѣ черезъ годъ и умерла на рукахъ у Наташи, поспѣшившей къ ней пріѣхать. Мнѣ дали знать, но уже было поздно.

Съ отцомъ объясненіе было коротко. Онъ тоже зналъ о прошломъ Зои и сказалъ мнѣ:

— Ты знаешь мои взгляды и потому я объявляю тебѣ: если ты женишься на «этой дамѣ», ты нанесешь позоръ нашей фамиліи и... тогда я попрошу тебя прекратить посѣщеніе моего дома и не считать себя въ числѣ моихъ наслѣдниковъ.

Странный человѣкъ былъ отецъ! Онъ удивительно дорожилъ честью и въ то-же время не считалъ дурнымъ быть ростовщикомъ.

Одна Наташа не упрекала, не грозила. Она только грустно, такъ грустно обняла меня и сказала:

— Что я скажу, Вася? Мы не разъ говорили. Будь, по крайней мѣрѣ, счастливъ, если можешь! Вотъ и все, что она сказала.

## VI.

Прошелъ годъ самой счастливой жизни.

Я сдалъ кандидатскій экзаменъ. Давно пора было подумать о средствахъ къ жизни и это меня очень смущало. Я всегда былъ въ этомъ отношеніи какой-то «блаженный», совсѣмъ непрактичный. Годъ мы прожили на средства Зои; она и думать не хотѣла, чтобы я зарабатывалъ. «Тебѣ сперва кончить курсъ надо», говорила постоянно она, и не переставала окружать меня самымъ заботливымъ вниманіемъ. А я, признаюсь, и не обращалъ вниманія на то, что у меня и платье новое, и бѣлье сшито, и книги покупаются мнѣ точно было все равно, въ какомъ я платьѣ и какое на мнѣ бѣлье; книгамъ я бывалъ радъ, и Зоя знала мою слабость.

А средства Зои приходили къ концу, и когда я кончилъ курсъ, она не разъ намекала, что теперь моя очередь позаботиться объ «уютномъ гнѣздышкѣ». Вотъ въ томъ-то и была моя ошибка. Гнѣздышка да такого, какое любила Зоя, я не сумѣлъ свить! Зою видимо смущало мое неумѣнье. Ей хотѣлось жить, не рискуя потерять нѣжность кожи на кухнѣ; она любила хорошо одѣться и жить въ «уютномъ гнѣздѣ»

съ цвѣтами, жить осядло, спокойно, а не поцыгански—обо всемъ этомъ я ужь послѣ догадался, когда уже было, пожалуй, и поздно! — а я, напротивъ, ко всему этому былъ равнодушенъ и по разсѣянности не замѣчалъ даже, на чемъ я сижу. Это ее даже раздражало.

Знаете-ли, есть на свѣтѣ такія неловкія, добродушныя рохли, которыя ничего толкомъ не могутъ устроить, ни къ чему пріурочиться и живутъ точно дѣти, не думая о завтрашнемъ днѣ. Такимъ людямъ я совѣтывалъ-бы никогда не жениться, право... Я много работалъ, перечелъ много книгъ, написалъ длинное изслѣдованіе о падающихъ звѣздахъ, а доставить счастья Зоѣ не могъ. Я находилъ, что самое лучшее—давать уроки и зарабатывалъ рублей шестьсотъ въ годъ, но Зоя находила, что этого мало для гнѣзда, и входила въ долги. Впрочемъ, эта скучная матерія меня и не касалась. Хозяйство было на рукахъ Зои. Она начинала понемногу тяготиться хозяйственными дрызгами.

Она, бѣдняга, ошиблась, подозрѣвая во мнѣ характеръ, а именно характера-то у меня и не было. Пріобрѣтать на гнѣздо я не умѣлъ, — не то, что не хотѣлъ, а просто не умѣлъ,—и, признаюсь, никогда и не подозрѣвалъ, что гнѣздо обходится безобразно дорого. Самъ я человѣкъ нетребовательный, мнѣ-бы

дорваться до кабинета, засѣсть за тетрадки и слушать, какъ Зоя поетъ. Хорошо такъ! Зоя же находила, что хорошаго въ этомъ мало, что это «сантиментально-глупо», что урски,—глупости, что надо мѣсто и что нельзя-же жить Робинзономъ—совсѣмъ скучно.

— Къ чему-жь ты учился? нерѣдко задавала она вопросъ.—Развѣ ты хочешь изъ меня кухарку сдѣлать? Я этого не хочу!

Я закрывалъ ей уста поцѣлуями, но Зоя видимо начинала скучать. Вѣчно вдвоемъ съ такимъ суркомъ, какъ я, дѣйствительно было скучно такой женщинѣ, какъ Зоя.

Она рѣшила сама помочь мнѣ и отправилась, скрывъ отъ меня, къ одному изъ бывшихъ своихъ покровителей, весьма вліятельному дѣльцу. Устроилось дѣло какъ-будто безъ ея помощи: я получилъ прямо предложеніе и приглашался къ извѣстному барину. Пришелъ—и оробѣлъ. Онъ вдобавокъ меня принялъ съ какою-то насмѣшливой снисходительностью и разглядывалъ меня, точно весьма рѣдкій экземпляръ,—такъ я былъ глупъ, неловокъ и застѣнчивъ. Бѣдная Зоя! Еслибъ она знала, какое скверное впечатлѣніе произвелъ ея мужъ! Меня посадили и спросили, на что я способенъ, и я по совѣсти сказалъ, что едва-ли я на что-нибудь способенъ въ томъ дѣлѣ, на какое меня приглашали.



— Такъ зачѣмъ-же вы просились? съ изумленіемъ спросилъ меня баринъ.

— Я вовсе и не просился. Вы сами пригласили меня.

«Баринъ» переглянулся со своимъ секретаремъ и замѣтилъ:

— Все равно, супруга ваша просила. Вы давно женаты?

— Недавно.

— Во всякомъ случаѣ, я готовъ предложить вамъ мѣсто въ тысячу пятьсотъ рублей. Дѣла почти никакого, изрѣдка только помѣщать замѣтки въ газетахъ.

Онъ объяснилъ, въ чемъ дѣло, какія именно замѣтки, и ждалъ отвѣта. Разумѣется, какой отвѣтъ! Я извинился и отказался, недоумѣвая, какъ это предлагаютъ такія большія деньги, когда никакого дѣла нѣтъ.

Мы раскланялись и, уходя, я ясно слышалъ голосъ барина, пославшаго мнѣ вслѣдъ «дурака».

Я понялъ, что въ глазахъ барина я былъ дуракомъ, но удивился, когда и Зоя, выслушавъ мой подробный рассказъ о свиданіи, назвала меня тоже дуракомъ.

Я промолчалъ и ничего не сказалъ о томъ, что мнѣ извѣстно, кто просилъ за меня. Она тоже объ этомъ умолчала. Тѣмъ первая попытка и кончилась.

Съ тѣхъ поръ Зоя, кажется, стала считать меня дурачкомъ и рѣшительно не могла придумать, что ей со мной дѣлать. Когда, бывало я говорю ей нѣжныя слова, когда ласкаюсь къ ней, она по-прежнему нѣжна, ласкова, но когда мясники начинали приставать съ просьбами денегъ, она становилась все пасмурнѣе.

Наступила осень нашего мира. Дѣла шли все хуже и хуже; долги росли, а я и въ усь себѣ не дулъ. Принесу Зоѣ пятьдесятъ или шестьдесятъ рублей да и считаю, что сдѣлалъ свое дѣло.

А она, бѣдняжка, начинала сердиться.

Сперва она подумала, что я ее не люблю, но когда раскусила меня получше, то поняла, что я «блаженный», и стала меня исправлять.

Начались, такъ-называемыя на языкѣ супруговъ, сцены. Сперва шли сцены, такъ сказать, предварительныя, но онѣ меня какъ-то не до-нимали, Богъ ужъ знаетъ почему, вѣрнѣе всего, что я ихъ не всегда понималъ. Я, бывало, приму порцію «сценъ» и послѣ нихъ еще лѣзу цѣловаться.

Стала Зоя хандрить. Частенько замѣчалъ я на глазахъ ея слезы.

— Что съ тобой, Зоюшка?

— Ты развѣ не видишь?

— Ей-богу не вижу. Развѣ ты несчастлива?

— Да развѣ такая жизнь—счастье?

— Какая? робко спрашивалъ я, все-таки ничего не понимая.

Она обыкновенно тарасила на меня глаза и называла «блаженнымъ дуракомъ».

Печально плелся я въ кабинетъ и долго ходилъ взадъ и впередъ, ломая голову надъ вопросомъ, какъ-бы перестать быть, въ самомъ дѣлѣ, дуракомъ?

Сталъ я искать мѣста и нашель въ гимназiи мѣсто учителя, но оттуда меня скоро выгнали. И тамъ нашли, что я «неподходящій». Почему «неподходящій» — мнѣ, разумѣется, не объяснили, хотя деликатно замѣтили, что я слабъ съ учениками и вообще разсѣянъ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь, я былъ самымъ неподходящимъ человекомъ!

Бѣдняжка Зоя серьезно захандрила къ концу второго года, особенно какъ за долги чуть-было не продали нашего имущества. Она серьезно стала упрекать и пригрозила, что оставитъ меня, если...

Она точно не умѣла формулировать свою мысль и потому докончила:

— Если ты будешь такой-же... дуракъ!

Я струсилъ и обѣщалъ не быть дуракомъ. Легко было обѣщать! Но какъ исполнить это обѣщаніе?

Зоя въ тотъ день была въ нервномъ возбужденіи и вечеромъ уѣхала въ театръ.

Стала она чаще уходить изъ дому. У нея завелись свѣжіе костюмы, за обѣдомъ появлялась нѣкоторая роскошь, у меня явилась новая пара. «Ну, думалъ я, Зоя пріучилась хозяйничать» (я въ это время зарабатывалъ до тысячи рублей), и радовался этому сперва. Но вмѣстѣ съ этимъ Зоя дѣлалась какая-то странная и неровная. Стала чаще сердиться на меня; то, бывало, бранить меня, то со слезами на глазахъ припадетъ ко мнѣ да такъ и замретъ.

Я не понималъ, что дѣлалось съ бѣдняжкой, и только тихо гладилъ ея несчастную голову.

Временами она переставала уходить изъ дому. Сидѣла дома подлѣ меня, просила рассказывать ей свои «блаженные мечты», какъ она называла мои мечты. И я, бывало, рассказывалъ ей... Какъ-то невольно разговоръ переходилъ на Наташу, на ея дѣятельность. Я горячо вспоминалъ сестру.

Зоя слушала, тихо улыбаясь и задумываясь, и не обрывала меня, какъ прежде, не называла глупенькимъ, напротивъ, становилась ласковѣй и, крѣпко прижимаясь ко мнѣ, вся вздрагивая, точно подстрѣленная птица, она тихо шептала: «милый мой!»

И я снова былъ счастливъ!

Но проходилъ мѣсяць, другой, Зоя опять исчезала изъ дому и снова нервничала.

Памятенъ мнѣ одинъ вечеръ. Это было зи-

мой. Сидѣлъ я у себя въ кабинетѣ и читалъ, какъ пришла ко мнѣ Зоя. Смотрю на нее: блѣдна, сама вся дрожитъ, глаза грустные.

— Вася! Развѣ ты не видишь?.. сказала она какимъ-то отчаяннымъ голосомъ.

— Что, Зоя? спросилъ я, а сердце такъ и замерло.

— Глупый! Я... я скверная жена... я...

Она не досказала. И къ чему было досказывать? Убитый ея видъ все досказалъ.

Мнѣ стало страшно и холодно, точно я очутился въ темной пропасти. Теперь только понялъ я, что принималъ я за экономію. Дуракъ, дуракъ! Бѣдная Зоя!

Я глупо молчалъ, не смѣя поднять глазъ.

Наконецъ я сталъ утѣшать ее. Это ее взбѣсило.

— Онъ еще утѣшаетъ! воскликнула она, нервно рыдая. — Женщина, которую онъ любитъ, говоритъ, что измѣнила ему, а онъ еще утѣшаетъ! Ты долженъ-бы наказать меня, плюнуть на меня, бить такую женщину, тогда, по крайней мѣрѣ, я-бы видѣла, что тебѣ больно, а вмѣсто этого ты-же утѣшаешь! Какой ты мужчина! Ты... тряпка! добавила она и чуть-ли не съ презрѣніемъ взглянула мнѣ прямо въ лицо.

Мнѣ... бить!? Эта мысль показалась мнѣ до того неестественной, что я не зналъ, что и сказать.

— Что ты говоришь, Зоя? Тебѣ самой развѣ легко? Къ чему еще упреки! Если тебѣ тяжело, значитъ впередъ этого не будетъ!

— А если будетъ? рѣзко крикнула Зоя.

Я окончательно смѣшался.

— Что-жь ты молчишь... говори!

— Если будетъ... началъ я, чувствуя, что слова съ трудомъ выходятъ изъ груди и звучать глухо, — если будетъ... значитъ... иначе нельзя и ничто не поможетъ.

— Да скажи, наконецъ: добрый ты или глупый?

— И добрый, и глупый, кажется, вмѣстѣ, Зоя! тихо отвѣчалъ я, не смѣя взглянуть на нее.

— Хорошій ты! вдругъ вырвался изъ груди ея какой-то скорбный крикъ, и она стала цѣловать мои руки.

Мнѣ стало стыдно, страшно стыдно. Она же цѣлуетъ, точно благодарить за что-то. Я отдернулъ руки. Что было потомъ — этого не передать. Есть счастливыя минуты, ихъ можно только пережить, рассказать ихъ невозможно.

Опять Зоя какъ-будто сдѣлалась счастливой или, по крайней мѣрѣ, старалась быть счастливой. Снова повела жизнь затворницы и довольствовалась тѣмъ небольшимъ кружкомъ двухъ-трехъ пріятелей, которые у насъ бывали. Она даже пробовала искать работы, ей отыскивали, но эта была скучная работа (переписка банковскихъ

счетовъ) и она ее бросила. Я, бывало, предлагалъ ей развлекаться, поѣхать въ театръ вмѣстѣ, но она упорно отказывалась.

— Не предлагай, Вася. Я боюсь.

— Чего боишься?..

— Блеска, Вася, людского шума. Онъ щекочетъ нервы. Ты не понимаешь этого, ты слишкомъ чистъ, а я... я испорченная. Меня тянетъ туда... я люблю этотъ блескъ, люблю, когда на меня смотрятъ, любятъ... я тщеславна, хорошій мой. Нѣтъ, нѣтъ, останемся вдвоемъ. Это пройдетъ, это должно пройти! Ахъ, зачѣмъ у насъ нѣтъ дѣтей! вдругъ шепнула она ласкаясь.

Она дивилась мнѣ, дивилась моей жизни, моей безпритязательности.

— Неужели тебѣ хорошо?

— Еще-бы! А тебѣ, Зоя, скажи правду? Ты вѣдь знаешь—я вѣрный другъ.

— Иногда—да, иногда—чего-то недостаетъ, но это вздоръ, не обращай на это вниманія... говори только чаще, что ты меня любишь. Вѣдь ты сильно меня любишь, или только привыкъ?

— Зоя, Зоя? Развѣ ты не видишь!

Мало-по-малу Зоя, казалось, стала примиряться съ нашей сѣренькой жизнью (я не догадывался, что она пересиливала себя!); съузила расходы и какъ-будто перестала пугаться перспективы скромной бѣдности. Насъ навѣщали пріятели, завелось два-три знакомства съ семейными

домами. Зоя страстно занялась хозяйством — откуда только у нея умѣнье взялось! — сама бывала на кухнѣ, усчитывала гроши, чтобы свести концы съ концами.

Я пересталъ скорбѣть за Зою. Мнѣ она казалась счастливою.

Въ ту пору случилось слѣдующее обстоятельство: умеръ мой отецъ и оставилъ наслѣдство. На мою долю приходилось двадцать тысячъ, но эти деньги я никогда не считалъ своими, да и не могъ считать своими. Уже давно мы такъ рѣшили съ Наташей и, пожалуй, именно благодаря Наташѣ, и я такъ рѣшилъ, — объ ней нечего и говорить. Деньгами этими я не считалъ себя вправѣ воспользоваться, — ни однимъ грошемъ.

Правда, меня нѣсколько смутила Зоя. Не долженъ-ли я отдать эти деньги ей? Но колебанія прошли скоро. Я не могъ поступить иначе и отправилъ ихъ Наташѣ. Въ отвѣтъ я получилъ отъ нея горячее письмо, точно я совершилъ подвигъ какой-то. А какой тутъ подвигъ?

Но изъ-за этихъ денегъ и случилась бѣда. Я объ нихъ не говорилъ ничего Зоѣ, не хотѣлъ смущать ее напрасно и сказалъ, что послѣ отца ничего не осталось.

Однажды, возвратившись съ уроковъ, я увидѣлъ Зою такой сердитой, какой никогда не видалъ. Блѣдная, губы дрожатъ, глаза злые.



Я потихоньку пробрался въ кабинетъ. Она быстро вошла вслѣдъ за мной.

— Такъ вотъ ты каковъ! сказала она.

— Что такое, Зоя?

— Еще спрашиваетъ! Дурачекъ, дурачекъ, а тоже... ничего не сказалъ!

— О чемъ?

— Я все знаю. Я прочла письмо твоего «ангела».

Я потупилъ голову. Я въ первый разъ солгалъ ей и былъ пойманъ.

— Что-жь ты молчишь? Зачѣмъ ты отдалъ деньги? Ты богачъ, что-ли! усмѣхнулась ѣдко она.—Тебя, дурака, сестрица за носъ водить, и ты отдалъ деньги Богъ знаетъ кому, зачѣмъ?

— Зоя! Эти деньги не могли быть нашими.

— Какъ-же! я прочла письмо, написано хорошо, даже очень хорошо, но ты понялъ-ли, что ты сдѣлалъ? А еще говоришь, что любишь! Развѣ любимую женщину держать въ конурѣ? Ты думаешь, мнѣ мила кухня?

Она выходила изъ себя.

— Зоя, Зоя, успокойся!

— Молчи, дуракъ! вдругъ крикнула Зоя.— Ты что? что ты? Ты Богъ знаетъ изъ-за чего, изъ-за глупыхъ идей своего ангела, отнялъ у любимой женщины возможность быть порядочной женщиной. Это честно, а? Ты видѣлъ, что со мной дѣлалось, ты зналъ, кто я такая, ты

видѣлъ, какъ я спотыкалась, но какъ я, искренно любя тебя, хотѣла быть честной женой и смотрѣть всѣмъ прямо въ глаза. И что ты для этого сдѣлалъ, что? Пальцемъ не пошевелилъ, только плакалъ, какъ дуракъ, и не могъ даже заработать столько, чтобы любимая женщина не сдѣлалась кухаркой. Это любовь?

Она говорила эти слова вся блѣдная, а глаза смотрѣли холодно, зло.

Я понялъ, что все кончено.

— Но я кухаркой не стану. Не мнѣ ею быть. Я жить хочу, а не няньчиться съ дуракомъ. Слышишь? жить хочу, я говорила давно. И пеняй теперь на себя, если тебѣ что-нибудь не понравится.

Она кончила свою жестокую рѣчь и, повернувшись, ушла. Въ дверяхъ она остановилась, обернулася ко мнѣ, съ явнымъ презрѣніемъ оглядѣла мою смущенную фигуру, засмѣялась какимъ-то рѣзкимъ, злымъ смѣхомъ и тихо сказала:

— Подлецъ!..

Эта исторія ожесточила Зою. Я пробовалъ, спустя нѣсколько дней, объяснить ей, почему я такъ поступилъ, но она холодно взглянула на меня и попросила избавить ее отъ всякихъ объясненій.

Стала она послѣ этого пропадать изъ дому. Мы переѣхали на новую квартиру. У нея по-

явились наряды, брилліанты,. Она перестала стѣсняться. У насъ стали бывать какіе-то гости, молодые блестящіе офицеры, подозрительные старички, и если я не успѣвалъ убѣгать въ кабинетъ, она знакомила меня съ ними, улыбаясь какъ-то странно, когда называла меня мужемъ. Я убѣгалъ въ свой кабинетъ, въ концѣ квартиры, но до моихъ ушей доносился нерѣдко гулъ оргіи и пьяный лепетъ веселыхъ офицеровъ.

Скверно было мнѣ, но какое право имѣлъ я упрекнуть ее! Развѣ я далъ ей счастье? То-ли я далъ, чего она желала? Я совсѣмъ затворился и повелъ какую-то странную жизнь. Я хотѣлъ забыться совсѣмъ; я сталъ читать и пить, пить и читать. И въ это время такія свѣтлыя мысли бродили въ головѣ, мечталось такъ хорошо, хорошо... Я совсѣмъ забылъ дѣйствительность и сталъ жить другой жизнью, какой-то фантастической. Понемногу я пристрастился къ вину, потерялъ уроки и совсѣмъ опустился. Сталъ трусить Зою.

Она не оставляла меня одного въ моей комнатѣ. Она глумилась надо мной ядовито, съ ехидствомъ и остроуміемъ умной женщины, называла дармоѣдомъ, предлагала мнѣ взять ее на содержаніе. До этого даже доходило!

Что могъ я сказать? И къ чему? Несмотря на все это, я въ тайнѣ любилъ ее и какъ еще

любиль! Подите-жь. Мнѣ даже казалось, что она обходилась такъ со мной, чтобы заглушить свои страданія.

А что она страдала—иначе и не могло быть. Помню, это было годъ тому назадъ. Нездоровилось мнѣ, сильно болѣла грудь, и я прилежъ на диванъ. Я не спалъ а такъ мечталъ съ открытыми глазами. Вдругъ знакомые шаги. Избѣгая сцены, я закрылъ глаза. Слышу: она тихо подходитъ къ дивану, вотъ подошла совсѣмъ близко. Я чувствовалъ ея дыханье. Я вдругъ открылъ глаза и привскочилъ... Она тихо цѣловала мою руку, обжигая ее слезами.

Я обвилъ ея шею рукой и ни слова не говорилъ. Я зналъ, что мои слова только раздражаютъ ее, а она глядѣла на меня кротко, такъ кротко, и грустно качала головой.

— Бѣдный ты, Вася... Бѣдный мой! проговорила она.

— Что ты, Зоя? Какой я бѣдный!

Она улыбнулась сквозь слезы и присѣла около. Цѣлый вечеръ не отходила она отъ меня. Какой я «бѣдный»? Сердце было такъ полно, мнѣ было такъ жаль ее!

— А зачѣмъ ты пьешь? Развѣ я не понимаю?

— Я брошу, Зоя! Брось и ты! Это здоровье губить.

— На что оно мнѣ!

Такъ перекидывались мы словами и долго просидѣли вдвоемъ.

Мы оставили квартиру, переѣхали на другую. Зоя снова пробовала пріучить себя къ скромной жизни, но эти пробы оканчивались очень скоро и она снова начинала кутить. Чѣмъ болѣе она кутила, тѣмъ становилась раздражительнѣе относительно меня. Наконецъ, однажды, она объявила, чтобы я уѣзжалъ съ квартиры. Я тихо отвѣчалъ, что завтра-же уѣду.

Но — странная натура у Зои! — отвѣтъ мой окончательно вывелъ ее изъ себя. Она вдругъ бросилась на меня... занесла руку... и ударила!

Черезъ полчаса она уже валялась въ ногахъ, просила остаться, и мнѣ стоило большого труда успокоить ее.

Я пилъ сильнѣй и сильнѣй и на все какъ-то махнулъ рукой. Но вчера я получилъ отъ моей ненаглядной Наташи письмо. Она зоветъ меня въ деревню и, если я не пріѣду, обѣщаетъ сама меня увезти. По письму видно, что она подозреваетъ о моей жизни. Зоя прочитала письмо и стала оскорблять Наташу. Это ужъ слишкомъ... Это... Я не могу...

Первушинъ кончилъ. Онъ былъ взволнованъ и нѣсколько пьянъ. Онъ было протянулъ руку къ графину, но я его остановилъ.

— Послушайте, Первушинъ, вы губите себя.

— Да развѣ я и безъ того не пропащій человекъ? Что я?

Я его старался успокоить и доказывалъ, что поѣздка въ деревню освѣжитъ его, поправитъ здоровье.

— Только поѣдете-ли вы?

— Поѣду! рѣшительно отвѣчалъ онъ.— Довольно! Скверно такъ. Непремѣнно поѣду и— кто знаетъ— быть можетъ, и Зоя пріѣдетъ къ намъ. Вѣдь она хорошая, какъ вы думаете? Вѣдь славная, а? торопливо заговорилъ онъ и закашлялся.

Первушинъ даже оживился и нѣсколько разъ повторялъ, что непременно поѣдетъ. А я тоскливо взглядывалъ на Первушина. Худое, съ чахоточнымъ румянцемъ лицо, впалая грудь и скверный кашель— все говорило, что врядъ-ли ему придется начать новую жизнь.

Мы вышли на улицу.

— Вы развѣ не домой? спросилъ я, когда онъ сталъ прощаться со мной.

— Нѣтъ... Зайду къ одному пріятелю. Пусть ея гнѣвъ пройдетъ. Зачѣмъ раздражать бѣдную Зою!

## VI.

Прошло три дня. Первушинъ не возвращался. Въ первый вечеръ Зоя Михайловна уѣхала куда-то изъ дому, но на другой день попросила меня къ себѣ. Я пришелъ къ ней. Она извинилась, что потревожила меня, и спросила:

— Гдѣ мужъ, не знаете-ли вы?

Я сказалъ, что когда мы разстались, онъ пошелъ къ пріятелю.

— Пилъ онъ? тревожно спросила она.

— Немного.

— А я вѣдь васъ просила! Ему такъ вредно пить! съ упрекомъ проговорила она.

— Василию Николаевичу въ деревню-бы надо, Зоя Михайловна,—сказалъ я.

— А что, что? испугалась она и вся вытянулась, словно боясь проронить слово.

— Плохъ онъ. Ему серьезно лечиться надо.

— Плохъ... едва слышно повторила она, — плохъ...

Я не ожидалъ, что она такъ приметъ это извѣстіе. Куда дѣвалась ея улыбка? Она вся какъ-то замерла; глаза стали печальные.

— Но гдѣ-жь онъ... гдѣ Вася? вдругъ встрепенулась она.—Степанида! Степанида! Поѣзжай,

родная, скорѣй... отыщи барина, вотъ адресъ...  
Нѣтъ, лучше вы, прошу васъ.

Она умоляла меня сейчасъ-же ѣхать. Я, конечно, не заставилъ себя просить и уѣхалъ по адресу, но тамъ я его не засталъ и ничего не узналъ.

— Ну что? встрѣтила она, трепетно ожидая отвѣта.

Я рассказалъ ей о своей неудачѣ.

— Господи! Не случилось-ли чего?

Она была въ ужасномъ страхѣ. Блѣдная, взволнованная, она то нервно ходила по комнатѣ, то садилась и, опустивъ голову на руки, тихо рыдала.

Наступилъ вечеръ. Мы молча сидѣли вдвоемъ и прислушивались: не позвонятъ-ли? Сколько разъ ей казалось, что звонятъ, она стрѣлой летѣла въ прихожую и возвращалась печальная: никого не было. Но вотъ раздался робкій звонокъ. Мы бросились въ коридоръ, но Степанида предупредила насъ.

Первущинъ робко, словно виноватый, пробирался тихими шагами. При свѣтѣ лампы онъ казался какой-то тѣнью живого человѣка,—такой худой, блѣдный, приниженный. Только глаза его лихорадочно горѣли.

Зоя Михайловна бросилась на него съ какимъ-то радостнымъ стономъ.

Она не могла говорить. Она смѣялась и пла-



кала въ одно и то-же время. А Первушинъ совсѣмъ оробѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее своими большими, кроткими глазами и точно не понималъ, во снѣ-ли все это или на яву.

У Первушиныхъ, казалось, наступилъ новый медовый мѣсяцъ. Надо было видѣть, какъ ухаживала за нимъ Зоя Михайловна! Нечего и говорить, что она не отходила отъ него ни на шагъ. Но бѣднякъ уже слегъ. Изнурительная лихорадка уложила его въ постель. Лучшіе доктора были призваны къ нему; они стучали въ грудь и скверно качали головами.

Зоѣ Михайловнѣ они ничего не сказали, но мнѣ объявили, что надежды никакой и жить ему осталось очень мало, нѣсколько дней. Чухотка въ послѣдней степени!

Я сидѣлъ у себя въ комнатѣ, когда ко мнѣ заглянула Зоя Михайловна.

— Ну, что, что они сказали? едва выговорила она, со страхомъ заглядывая въ мое лицо.

Я обнадежилъ ее, какъ умѣлъ. Она тихо взяла меня за руку и съ умоляющимъ видомъ спросила:

— Вы правду говорите? Онъ будетъ жить? Вѣдь будетъ?

— Конечно.

Она ушла отъ меня съ надеждой.

А Первушину съ каждымъ днемъ становилось хуже; онъ подолгу забывался, силы, видимо,

оставляли его; докторъ ѣздилъ два раза въ день и, уѣзжая, предупреждалъ меня, что дѣло скверное.

Грустная тишина была въ комнатѣ больного. Первушинъ, исхудалый, безъ ропота, безъ жалобъ, лежалъ на своемъ диванѣ. Зоя не оставляла его ни на минуту и все время проводила около мужа; она сама похудѣла, осунулась, глаза ввалились. Я предложилъ-было замѣнить ее, но она рѣшительно отказалась. Первушинъ молча глядѣлъ на Зою своимъ кроткимъ взоромъ и на лицѣ его была такая счастливая улыбка...

— Знаешь-ли, о чемъ я тебя попрошу, Зоя, милая моя! какъ-то однажды сказалъ онъ.

— О чемъ, голубчикъ?

— Попроси Ивана Петровича написать телеграмму Наташѣ. Пусть Степанида снесетъ. Я-бы желалъ видѣть сестру.

— Еще-бы, сейчасъ! проговорила Зоя и вдругъ испуганно прибавила: — а тебѣ развѣ хуже... ты...

Она боялась досказать.

— Нѣтъ, Зоя, мнѣ лучше. Ты не пугайся, милая моя. Мнѣ просто хочется взглянуть на Наташу. Я вѣрю, что я буду жить, мнѣ хорошо.

Но онъ вдругъ закашлялся, беспомощно прижимая маленькія руки къ своей впалой груди.

— Все это пройдетъ, — опять заговорилъ онъ. — Я такъ счастливъ, такъ счастливъ... какъ-же не

жить? За что умирать? шепталъ онъ, протягивая прозрачную руку Зоѣ.

Зоя тихо сжимала ее въ своей, а сама отворачивалась, чтобы скрыть слезы.

Когда телеграмма была написана и отправлена, Первушинъ видимо обрадовался.

— Вы увидите, обратился онъ ко мнѣ, — какая Наташа славная. Ты, Зоя, полюбишь ее. Она добрая. И ты вѣдь добрая!

Но что сдѣлалось съ Зоей? Она глухо рыдала, припавъ къ рукѣ Первушина.

— Зоя, что съ тобой, что?.. растерянно спросилъ онъ.

— Простишь-ли ты... меня!..

— Простить?—Онъ кротко улыбнулся.—За что тебя прощать, глупенькая? Не плачь-же. Мы будемъ счастливы, уѣдемъ отсюда съ Наташей въ деревню. Тамъ хорошо такъ. Много воздуха, лѣсъ, цвѣты.

И Первушинъ сталъ мечтать о томъ, какъ онъ начнетъ новую жизнь, какъ онъ поѣдетъ.

— Еще недѣлю, другую, а тамъ и поѣдемъ, правда?

А голосъ его все слабѣлъ и слабѣлъ. Ему было трудно говорить много. Онъ задыхался.

Зоя сидѣла, какъ убитая.

Наступилъ вечеръ. Василій Николаевичъ заснулъ. Мы молча сидѣли около. Степанида тихо всхлипывала въ коридорѣ. Мѣрно чикали часы.

Вотъ пробило восемь, девять. Первушинъ закашлялъ. Ему дали лекарства.

— Какой чудный сонъ, Зоя! Зоя, ты здѣсь?

— Я здѣсь.

— Гдѣ ты, Зоя, Зоя, Зоюшка! жалобно спрашивалъ онъ.

Она нагнулась къ нему, но онъ ее не узнавалъ и все повторялъ:

— Зоя, Зоя... не оставляй меня.

Зоя едва удерживала рыданія.

Скоро больной пришелъ въ себя. Ему стало значительно лучше. Онъ присѣлъ на постели, попросилъ чаю и такъ бодро говорилъ, что Зоя стала надѣяться.

— Видишь, мнѣ совсѣмъ хорошо. Завтра, пожалуй, и встать можно, Иванъ Петровичъ? А ты, Зоя, усни, голубушка! Ты устала. Экая славная ты натура. Зоя, золотое сердце какое у тебя!

Первушинъ попросилъ ѣсть и сказалъ, что теперь уснетъ.

Скоро онъ заснулъ.

— Ему лучше, правда? шопотомъ спрашивала меня Зоя.

— Гораздо. Вы отдохните-ка.

Она сѣла въ кресло и скоро заснула, взявъ съ меня слово, что я ее разбужу, какъ только больной проснется.

Первушинъ спалъ до утра. Но утромъ онъ

сталъ метаться. Я разбудилъ Зою. Она едва успѣла подбѣжать къ постели, какъ вдругъ Первушинъ приподнялся, открылъ ротъ, жадно глотая воздухъ, опустилсѣ, тяжело прохрипѣлъ, вытянулся — и въ комнатѣ водворилось мертвое молчаніе.

Зоя бросилась къ нему, заглянула въ глаза. Они кротко глядѣли по-прежнему. Я тихо отвелъ ее отъ трупа. Она не противилась и послушно отошла. Я закрылъ покойнику глаза.

Я занялся распоряженіями насчетъ похоронъ. Зоя ничего не могла дѣлать; она сидѣла цѣлые часы молча. Она точно окаменѣла. Печальное выраженіе застыло у нея на лицѣ да такъ и осталось. Она не выронила слезинки, и когда о чемъ-нибудь ее спрашивали, отвѣчала автоматически.

На третій день пріѣхала Наташа. Покойный не даромъ ею восхищался. Она вошла веселая, здоровая, свѣжая (мы не упоминали въ телеграммѣ, что братъ боленъ), но когда увидала наши лица, бросилась прямо въ гостиную и припала къ брату.

Съ Зоей она обошлась холодно. Но Зоя, казалось, ничего не замѣчала и, по-прежнему, сидѣла у себя въ комнатѣ. На похоронахъ Зоя шла молча, опустивъ голову. За это время она постарѣла. Она была по-прежнему хороша, но горе ужь наложило на нее свою печать.

На другой день Степанида пришла ко мнѣ и объявила, чтобы я искалъ себѣ квартиру.

— А Зоя Михайловна?

— Мы уѣзжаемъ. Продадимъ только вещи.

— Куда?

— Не—знаю, печально отвѣтила Степанида.

Въ тотъ-же день въ квартиру стали являться покупатели: маклаки, еврейки, и черезъ день квартира опустѣла. Зоя Михайловна продала рѣшительно все: мебель, вещи, всѣ свои платья.

— Только черное, шерстяное, голубушка на себѣ оставила. И все куда-то торопится и не торгуется вовсе! говорила Степанида.

Я уложился и пошелъ проститься.

Она сидѣла въ пустомъ кабинетѣ. При моемъ появленіи она вздрогнула.

— Это вы? обернулась она и поднялась съ ящика.

— Я пришелъ проститься, Зоя Михайловна.

— Прощайте. За все спасибо вамъ. Дай вамъ Богъ всего хорошаго! сказала она и крѣпко пожала мнѣ руку.

— А вы?. Вы уѣзжаете?

— Да.

Мнѣ хотѣлось-было спрѣснуть у нея, что она думаетъ дѣлать, гдѣ жить, но она, очевидно, не желала продолжать разговоры. Я пожелалъ ей душевнаго мира и вышелъ изъ комнаты.



---

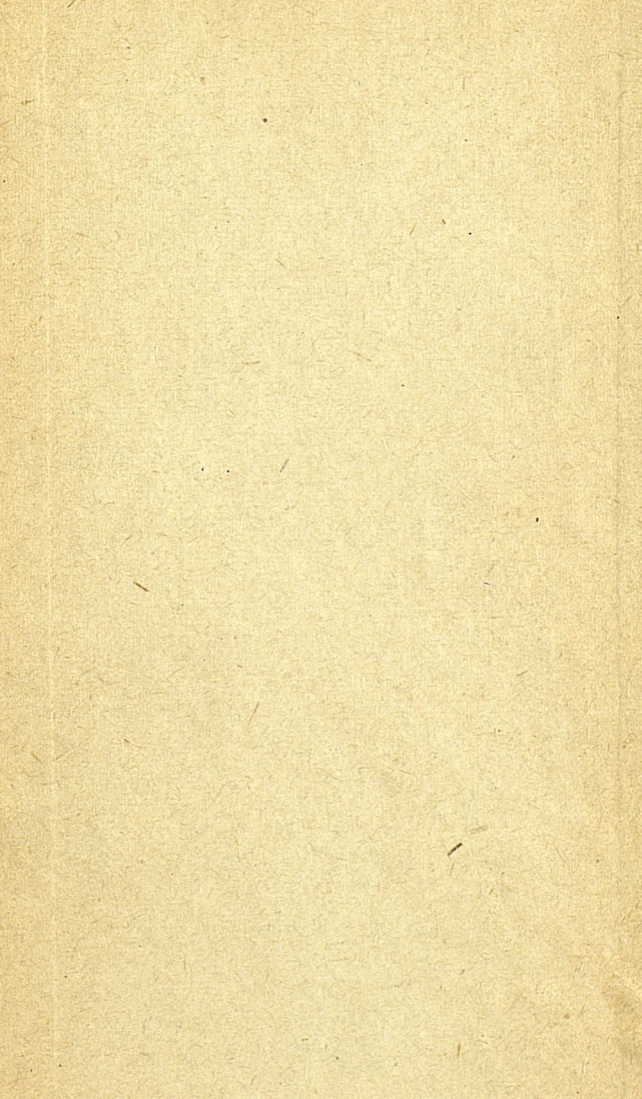
Цѣна 1 руб.

---











2007067258